

АВРЕЛИЙ АВГУСТИН

ЖИЗНЬ В ПЕРИОД КАТАСТРОФ

В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ БЫЛО НЕМАЛО ПЕРИОДОВ, которые ломали привычные устои и направляли жизнь людей в новое русло. Можно вспомнить IV век до Рождества Христова, когда Александром Македонским и его генералами была проведена глобальная эллинизация Древнего мира. Следующее потрясение – это IV век по Рождеству Христову, когда Константином Великим и его детьми была проведена христианизация уже Античного мира. А вот новое потрясение – XVI век, когда Лютером и протестантами в религии и науке была совершена Реформация, и очередное потрясение переживает человечество с конца XX века.

Люди третьего тысячелетия уже несколько десятилетий содрогаются от сознания того, что они живут в период кризисов и катастроф. Им довелось жить в переломную эпоху как бы между двумя гигантскими жерновами, в которых смешивается и трется то, что еще не умерло и то, что только рождается. Как выжить человеку в этот нелегкий период? Может быть опыт тех, кто жил до нас поможет найти правильные решения?

Одним из наиболее ярких и влиятельных представителей переходного периода, который вобрал в себя черты как Античности, так и Средневековья, был Августин из Гиппона. На Востоке его называют блаженный Августин, а в западной традиции он – Saint Augustine (Святой Августин).

Августин удивительно современен и по-современному противоречив. Лютер, который всю жизнь восхищался им, писал: «Если бы он жил в наши дни, он был бы одним из нас», а Гарнак, живший в Новое время, в XIX веке, заявил: «Первый человек наших дней — Августин». И в третьем тысячелетии о нем спорят. Его ругают и им восхищаются. Хотя он жил в Африке, но по культуре, языку, способу мышления и восприятию жизни он был человек западно-европейской цивилизации. Он даже не знал или почти не знал греческий язык и хотя жил в одно время с такими великими восточными мыслителями как Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст и другие, он очень мало пользовался их трудами и поэтому многое как бы «изобретал» заново. Это было не особенно разумно, но иногда давало необычные и весьма оригинальные решения.

О жизни Августина мы знаем очень много благодаря его трудам, письмам, а главное — его «Исповеди» — поэтической автобиографии. Также сохранилось жизнеописание, составленное его современником и другом Поссидием, епископом нумидийской Каламы. Кроме этих трудов в рассказе об Августине были использованы книги Карло Кремона «Августин из Гиппона», Анри Марру «Святой Августин и августинство», Ганса Кюнга «Великие христианские мыслители», Дмитрия Мережковского «Лица святых» и другие материалы.

КРИЗИС ЖИЗНИ

Земля Алжира полна противоречий. Древние христианские руины оглашаются здесь заунывными пениями мулл, в политике соединяются социализм и ислам, Аль-Каида регулярно взрывает отели, но вместе с тем женщины на улицах ходят без паранджи. Эта земля дала миру таких пламенных апологетов христианства как Августин и Тертуллиан, но она же родила такого яркого философа художественной прозы, бунтующего против христианства как Альберта Камю. Прислушайтесь к звукам этой земли и вдохните ее запахи. Камю писал о ней: «Весной в Типаса обитают боги, и боги говорят на языке солнца и запаха полыни, моря, закованного в серебряные латы ... руин, утопающих в цветах, и кипении света на гудах камней».

Здесь, почти семнадцать веков назад, в Тагасте, родился Августин. Ныне это маленький арабский городок Сук-Ахрас, где молодежь поет на арабском и на французском одновременно, но осознает себя все же ближе к Мекке и Каиру, чем к Парижу и Риму, хотя в четвертом веке все было наоборот.

Африка времен Августина была важнейшей частью великой Римской империи и большая часть населения, живущего здесь — берберы, говорили на латинском языке и считались римскими гражданами. Тагас, хоть и небольшой городок, все же имел все атрибуты римских городов — мраморные колоннады, триумфальные арки, городские бани, театр, форум и хотя все это старались сделать величественным, на самом деле оно было игру-

шечно-маленьким, провинциальным. По-настоящему большими здесь были только пустыри, заваленные бревнами и досками. Тагаст был главным рынком лесной Нумидии и находился на равнине, окруженной тесным кругом холмов, за которыми начиналась Сахара с желтыми песками и мерцающей дымкой зноя.

Глазами Камю легко представить атмосферу древней Нумидии, как ее видел такой же страстный, как и Камю, африканец Августин: «Мы вступаем в желто-синий мир, где нас встречает, как вздох, терпкий аромат, который летом издает земля в Алжире... Едва мы делаем несколько шагов, полынь берет нас за горло. Повсюду, насколько хватает глаз, ее серые волосы покрывают руины. От зноя в ней бродят соки, и кажется, на всем свете от земли к солнцу поднимается крепкий хмель, от которого пьянеет и шатается небо».

Именно в этом желто-синем, знойном и пьянящем мире, в небогатой, но и не в бедной семье язычника Патриция и христианки Моника родился мальчик, который получил двойное имя. Одно – Аврелий, типично римское, языческое от отца и другое Августин – христианское, от матери. Первое, языческое почти забылось, а второе христианское стало известно всем поколениям христиан.

Римская империя переживала в IV веке один из самых драматических периодов своей истории. Подорванная опустошающими набегами варваров, внутренней анархией и гражданскими войнами империя только к концу III века как казалось, была восстановлена. Но это восстановление произошло на совершенно новой основе: в политическом смысле родилось первое из тоталитарных государств современного типа, то есть возникла система, контролирующая все сферы жизни общества: экономику, политику, культуру, религию и т.д. Это началось при Диоклетиане, на рубеже третьего и четвертого веков (284 – 305), расцвело пышным бутонем при сменившем его Константине (306 – 337), и доведено до логического конца при Феодосии Великом в конце четвертого века (379 – 395). После столетий войн и расколов Империя была воссоздана как мир, который формировал единое общеримское сознание и «подгонял» каждого человека под штамп образцового винтика в отлаженной бюрократической машине. Остаться личностью в условиях тоталитарного государства почти невозможно: надо быть таким как все. Корпоративный интерес и корпоративные ценности подавляют личные ориентации и особенности.

Почти половину жизни Августин боролся между групповым и личностным началом. С самого детства родители Августина хотели, чтобы их сын добился успеха и хорошего положения в мире, но успех мыслился ими только в категориях и ценностях римского общества. Предполагалось, что Августин получит хорошее образование и станет адвокатом или учителем. Поэтому он закончил начальную школу в родном Тагасте, потом учился в соседнем городе Мадавре и завершил свое образование в Карфагене – столице римской Африки, в самом крупном после Рима городе латинского Запада. Так с семи до девятнадцати лет, Аврелий Августин прошел полный

курс образования, считавшийся вполне обычным в его время. Босоногим мальчишкой он покинул свой небольшой, белый, с плоской кровлей дом, который утопал в зелени плодового сада и виноградника, чтобы стать стандартным человеком своей эпохи. А учитывая его способности — он мог бы достичь хорошего положения, достатка и уважения в обществе, но кто вспомнил бы о нем в истории?

Неизвестно, рождают ли переломные эпохи великих людей, но совершенно ясно, что они создают уникальные условия для раскрытия личности, которая пожелает быть не похожей на всех. Как тонко заметил Тютчев:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Может быть так и стоит отнестись к нашей переломной эпохе финансовых и экономических кризисов. Надо ли нам плакать и ужасаться от бедствий, грядущих на наш город или страну — а что если гражданская война начнется? Если газ отключат? Если нашу фирму закроют? И еще тысячи страхов навевает медио-империя. Ведь кроме молитвы мы вряд ли сможем чем-то остановить кризис, поэтому не стоит терзаться неясным будущим. Лучше жить реальным настоящим. Для каждого из нас есть другая возможность — использовать переломные дни и обстоятельства как трамплин для раскрытия себя. Понять, что мы получили шанс от Всевышнего, которого не имели отцы наши. Не стоит довольствоваться серым и малым, необходим здоровый риск и смелые мечты. Одни из самых влиятельных людей нашего времени Билл Гейтс, отойдя от дел, на вопрос молодежи, чем бы он рекомендовал заниматься в XXI веке, сказал: «Занимайтесь в первую очередь не тем, что приносит деньги, а тем, что вам интересно». Заниматься тем, что интересно... На это требуется немалое мужество, но возможно это именно то, что поможет нас раскрыть себя.

Кризис подталкивает к бунту. Но если бунт выражается в митингах, маршах колоннами или побитии витрин дорогих магазинов — это банальное отчаяние. Поздний соотечественник Августина — Камю в «Бунтующем человеке» написал очень точно — «Отчаяние, как и абсурд, судит и желает всего вообще и ничего в частности... но ... в бунтарском порыве рождается пусть и неясное, но сознание: внезапное яркое чувство того, что в человеке есть нечто такое, с чем он может отождествить себя хотя бы на время».

Августин пережил молчаливое согласие с корпоративными требованиями системы, но поднял бунт против себя, а потом и против мира греха, который его окружал. Начал он с того, что вступив на стандартный путь благополучного среднего гражданина, совершил восхождение к высотам языческой культуры, чтобы впоследствии, став христианином, сделаться ее непримиримым разоблачителем.

Новая Империя, в которую вращал молодой африканец, формировала новую идеологию. Вряд ли император Константин мог до конца представить себе

насколько значимым для истории было его откровение о том, что христианство способно стать той идеологической платформой, которая воскресит умирающую Империю. Но каким-то особым внутренним чутьем Константин осознал это и принял христианство не как личную религию — он так до конца жизни и оставался только готовящимся к крещению. Но он принял христианство как единую религию нового мира, который он мечтал построить.

В 313 году Константин публично объявил себя христианином и даровал христианам свободу и покой. К этому времени не более 10% населения Римской империи считали себя христианами, но после принятия христианства императором положение резко изменилось. Церкви стали быстро наполняться временщиками, которые принимали христианство из выгоды, политических соображений или других весьма недостойных мотивов. Но история доказала, что христианами под нажимом не становятся. Августин гораздо позже писал: «Одни принимали христианство, желая доставить удовольствие другу, другие — имея какое-либо дело и желая представить его на суд епископу, третьи — чтобы заручиться хорошей протекцией через духовных лиц, четвертые — потому что представлялась возможность составить выгодную партию». Но видя это, Августин смотрел на таких ловкачей с надеждой, ибо «благодать Божья, — писал он, — сможет увлечь человека дальше, чем он думал идти сам, и многие вскоре становятся теми, кем сначала хотели только казаться».

И все же, как оценить тот факт, что ко времени Феодосия Великого, который к концу IV века официально объявил христианство единственной государственной религией Римской империи и запретил всякое язычество, 90% населения империи называли себя христианами? Может ли произойти столь стремительный рост христианства менее чем за 100 лет за счет евангелизации и внутреннего личного обращения или здесь налицо христианизация, т.е. мировоззренческое, а не сердечное принятие Христа?

Переход от язычества к христианству, который произошел так быстро, внес изменения в понимание многих доктрин и церковных правил. Одно из наиболее существенных изменений произошло с водным крещением. Если в III веке крещение младенцев совершалось только в единичных, исключительных случаях и против такой практики выступали многие видные мыслители, например, Тертуллиан, — то в конце IV века крещение детей становится обычным делом. В чем видел Тертуллиан опасность такого изменения? Конечно, есть и библейские и богословские аспекты недопустимости детского крещения, но многие противники дето крещения отмечали, что ребенок не принимает личного решения. Он живет как бы верой родителей, т.е. групповым или семейным штампом поведения и никто не может дать гарантии, что когда-нибудь вера его настоящих или крестных родителей, которые поручались за него Богу, станет его личной верой.

Августин не был крещен в детстве, хотя сам впоследствии настаивал на необходимости крещения младенцев. И поразительно, что отказ от детского

крещения был сделан не по воли отца — язычника, а по решению матери — христианки! Моника не побоялась трудного пути личного обращения сына к Истине. И сделала она это не на основе циничного расчета, который действительно использовали многие в то время, — что, мол, крещение омоет все грехи юности, поэтому лучше нагрешиться вдоволь, а потом, на старости принять крещение, после которого грешить нельзя. Моника, как и многие искренние христиане, считала, что крещение можно принимать только после покаяния и личного обращения ко Христу и она ждала такого обращения от сына и непрестанно молилась о нем.

Еще в детстве, серьезно заболев, Августин сам умолял крестить его, и все уже было готово для этого, но кризис миновал, и мать вновь отложила крещение. Августин вспоминает об этом с сожалением, думая, что крещение, как обряд, способно было бы дать ему веру и избавить от трудных поисков Бога. Какая наивность и простота! С высоты истории, да и из собственного опыта, современный человек может рассказать о тысячах людей, которые были крещены в младенчестве, воспитывались в христианских семьях, но не только не получили веру от обряда, который был совершен абсолютно правильно, по всем церковным канонам, но даже наоборот — они стали атеистами и воинствующими безбожниками.

Стоит вспомнить недавнее прошлое России, когда выдающиеся литераторы — славянофилы XIX века — А.Хомяков, К.Аксаков и другие создали миф о «Святой Руси», душе которой якобы близко только православие. Не прошло и 50 лет как те, кого славянофилы гордо именовали Святой Русью, восстали против Христа. Разве язычники или мусульмане пришли в 1917 году в Россию и срывали колокола с церквей, взрывали храмы, топтали иконы и совершали надругательства над православными святынями? Нет. Все это делали крещенные в младенчестве чада православной церкви. Вера не происходит от крещения. Крещение совершается по вере!

Августин, к сожалению, не понял этого, но он ясно понимал, что типичный для его положения путь адвоката, «лавочника слов, торгующего болтовней и побеждающего в тяжбах», не удовлетворял его души. Он бунтовал: «Неужели это все, неужели так придется жить до гроба?» — спрашивал он сам себя и не находил ответа. Философ-богослов боролся в нем с ритором. «Господи, ты создал нас для Себя и не успокоится сердце наше ни в чем, кроме Тебя!» — писал Августин позже в своей Исповеди.

Однажды разбирая учебные книги для школы, он заглянул в одну из них и зачитался ею так, что не мог от нее оторваться, пока не дочитал до конца. Это был «Гортензий» Цицерона, беседа ищущих Бога философов. Что же поразило Августина? Может быть, вот эти жуткие слова: «Души человеческие, в наказание за какую-то всемирную вину, осуждены на такую же пытку, находясь в теле, как та, которой подвергали пленников этрусские разбойники. Они сковывали их с трупами так, чтобы каждый член живого приходился к соответствующему члену мертвого, и оставляли их в цепях, пока не соединялись два трупа в одном, общем тлении».

Всемирная вина — что это такое? Откуда в людях раздвоенность и зло? Почему мы носим смертную плоть, которая своим смрадом и тлением разлагает нашу душу так, что и душа и плоть становятся одним трупом? В то время Августин не мог ответить на эти вопросы, но позже понял, что всемирная вина, о которой догадывался Цицерон, это не что иное как первородный грех, унаследованный от прародителей Адама и Евы.

Учение о первородном грехе позже стало занимать одно из главных мест в богословии Августина. Особенно это стало актуально из-за спора с Пелагием, который считал, что люди рождаются безгрешными, а грехопадение происходит по их собственной воле. Августин правильно понял греховность человека и значение благодати, но слишком увлекшись спором с Пелагием, сделал благодать непреодолимой и стал учить о двойном предопределении — о предопределении к блаженству и предопределении к проклятию, что делало Бога ответственным за вечную смерть миллионов душ.

Когда Августину было 19 лет, умер его отец и юноша вынужден был оставить обучение и начать работать. Как и большинство молодых людей того времени, он стал преподавать, сначала открыв школу в родном Тагасе, а затем, вернувшись в Карфаген, занял городскую кафедру ритора. Он был хороший учитель, о чем свидетельствовали люди окружавшие его, особенно Алипий, ставший его близким другом, братом в обращении ко Христу, соратником в епископской деятельности. Через десять лет он решил ехать в Рим, чтобы там получить признание и более высокий пост, но все эти годы он жил в духовном кризисе. Всеми силами он пытался понять смысл жизни и свое назначение на земле, но кто мог дать ему ответ на эти вопросы? Августин обращался и к Писанию, но ничего не понял в нем. «Моя кичливость не мирилась с его простотой, — писал Августин в Исповеди, — мое остроумие не проникало в его сердцевины... и так попал я в среду людей, горделиво бредящих, слишком преданных плоти и болтливых». Так описывает Августин свой приход в манихейство. «Девять лет, от девятнадцатого до двадцать восьмого года жизни моей, я жил в заблуждении и вводил других в заблуждение манихейством, — вспоминает Августин, — о Истина, Истина! Из самой глубины души своей уже тогда я вздыхал по Тебе, и они, (манихеи), постоянно звонили мне о Тебе на разные лады, в словах, оставшихся только словами, и в горах толстых книг». Так углублялся, а не разрешался кризис жизни.

136

Только девять лет спустя, в Риме, после встречи с выдающимся представителем манихейства — Фаустом Милевским, Августин понял, что это учение — не что иное как мифология безудержных фантазий, а не философской строгости. Откровения, которые должны были разогнать все его сомнения, всегда откладывались на завтра. Разочаровавшись в манихействе, Августин потерял даже ту призрачную философскую опору для своей души. Как жить дальше? Кризис становился все сильнее.

А разве в наши дни те, кто горделиво отбрасывает Священные Писания как примитивные сказки для стариков, не ввергают себя в такой же кризис?

Бессмысленность, бесцельность и абсурдность жизни заставляет убежать от нее, толкает на преступления и в наркоманию, создает работоголиков и развратников. Камю, который всю жизнь провел в таком кризисе, но так и не разрешил его, писал: «Чувство абсурдности поджидает нас на каждом углу. Это чувство неуловимо в своей скорбной наготе, в тусклом свете своей атмосферы ... (но) бывает, что привычные декорации рушатся. Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме — вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос «зачем?» ... Из дня в день нас несет время безотрадной жизни, но наступает момент, когда приходится взваливать ее груз на собственные плечи. Мы живем будущим: «завтра», «позже», «когда у тебя будет положение», «с возрастом ты поймешь». Восхитительна эта непоследовательность — ведь, в конце концов, наступает смерть! Да. Ни философские системы, ни попытки убежать от ужаса бесцельности, ни развлечения, ничто не способно дать человеку то, что может дать только Господь — внутренний мир и ясность цели жизни.

Чтобы продвинуться по службе, Августину надо было переехать из Рима в Медиолан современный Милан, где в то время находился императорский двор и все управление империей. Для этой же карьерной цели познакомился он с Амвросием, епископом Медиоланским, потому что тот имел большое влияние при дворе. «Часто в те дни ходил я слушать проповеди его, хотя и не для того, для чего следовало бы, а чтобы только узнать, справедлива ли молва о его красноречии ...» — пишет Августин. Но слушая Амвросия, Августин вскоре обнаружил, что толкование Ветхого Завета, которое давал Амвросий, освобождало от трудностей, на которые указывали манихеи. И главное, благодаря Амвросию Августин вошел в круг тех христианских интеллектуалов, которые используя философскую систему неоплатонизма, помогали христианской вере осознать свою внутреннюю структуру и формировать богословие.

Августина тянуло к Амвросию, тем более, что его мать, Моника, приехавшая из Карфагена в Медиолан с восторгом слушала знаменитого епископа и часто хвалила его, считая себя его духовной дочерью. Августин хотел бы пообщаться с епископом поближе, но «я не мог спросить у него, о чем хотел и как хотел, потому что нас всегда разделяла толпа занятых людей, которым он помогал в затруднениях. Когда их с ним не было, то в этот очень малый промежуток времени он восстанавливал телесные силы необходимой пищей, а чтением — духовные. Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали. Часто, зайдя к нему (доступ был открыт всякому, и не было обычая докладывать о приходящем), я заставал его не иначе, как за этим тихим чтением. Долго просидев в молчании (кто осмелился бы нарушить такую глубокую сосредоточенность?), я уходил догадываясь, что он не хочет ничем отвлекаться в течение того короткого времени, которое ему удавалось среди оглушающего гама чужих дел улучшить для собственных умственных занятий».

Так они и сидели друг против друга в долгом молчании, в котором только слышен был шелест страниц: один уже в церкви, другой хотел бы войти в нее, но не знал как это сделать, а спросить не смел. Помощи ждал Августин, но не дождался. Служителям церкви некогда, они заняты ... Это типичная история во все времена ... Позже она не раз повторялась с самим Августином, когда он сам стал епископом. Поэтому он не осуждал Амвросия за черствость и невнимание: «С каким бы намерением он (Амвросий) так ни поступал, во всяком случае поступал он во благо», — продолжает Августин воспоминания о кризисе своей жизни. Лучше оправдать Амвросия никто бы не смог. Почему «поступал Амвросий во благо» когда не переубеждал Августина? Потому что даже ошибки своих служителей использует Господь во благо. Это, конечно, не извиняет служителей, которые так заняты, что им некогда выслушать ищущих Бога посетителей, но милость и любовь Божия дает нам гарантию, что у Христа достаточно времени, чтобы выслушать каждого и помочь ему, подводя к двери Церкви.

Может быть, Августин пришел бы в Церковь раньше, если бы Амвросий поднял голову от книги и увидел его? Но он ничего не видит, он читает, шелестят страницы, бегают глаза по строчкам. Если бы Августин погиб, сидя напротив святого Амвросия — увидел бы он его? Спас бы? Трудно сказать. Но слава Господу, что Христос не похож на Своих служителей. Он видит всех и не хочет смерти грешника.

Под влиянием проповеди Амвросия «верно передающего слово истины», и жизни многих преданных христиан, Августин пришел к вере, но вера во Христа удивительным образом сочеталась в нем в то время с грехом. То есть, это была вера разума, но не была вера сердца, которая через покаяние перерождает человека. Вот как, психологически тонко, пишет об этом состоянии сам Августин: «Я удивлялся, что уже люблю Тебя, а не призрак вместо Тебя, но не мог устоять в Боге моем и радоваться: меня влекла к Тебе красота Твоя, и увлекал прочь груз мой, и со стоном скатывался я вниз: груз этот — привычки плоти. Но со мной была память о Тебе, и я уже нисколько не сомневался, что есть Тот, к кому мне надо прильнуть, только я еще не в силах к Нему прильнуть ... Я искал путь, на котором приобрел бы силу, необходимую, чтобы насладиться Тобой, и не находил его, пока не ухватился за Посредника между Богом и людьми, за Человека Христа Иисуса ... Я уже нашел дорогую жемчужину, которую «надлежало купить, продав все имение свое, — но стоял и колебался». Но Господь не оставил Августина в этом неустойчивом положении, он продолжал трудиться над его душой.

Однажды Августин зашел к другому пресвитеру медиоланской церкви — Симплициану, старцу, который не блистал интеллектуальными высотами, но помог Августину распутать клубок его философских исканий. «Я рассказал ему о том, как я кружился в своих заблуждениях. И когда я упоминал, что прочел те книги платоников, которые Викторин, когда-то бывший учителем риторики в Риме перевел на латинский язык, Симплициан поздравил меня с тем, что я не наткнулся на произведения других

философов, полные лжи и обмана ... Затем он вспомнил самого Викторина, ... который не устыдился стать дитятей Христа ... и укротил гордость под «позорным» Крестом».

Рассказ об обращении Викторина, который был одним из самых знаменитых и авторитетных ораторов языческого мира, всю жизнь защищавший идолопоклонство и удостоившийся того, что его статую поставили на римском форуме, что было самой высокой почестью того времени, — разжег в Августине «неимоверный пожар». Это было решающее событие для интеллектуальной революции в сознании Августина, а эмоциональной революцией стал рассказ одного из его друзей — Понтициана, об обращении двух агентов тайной полиции из императорского окружения. Они случайно нашли книгу Афанасия Александрийского описывающую жизнь отшельника Антония Великого и стали читать ее и внезапно, один из них, гневаясь на себя, обратился к другу: «Скажи, пожалуйста, чего домогаемся мы всем трудом своим? чего ищем? ради чего служим? можем ли мы на службе при дворе надеяться на что-либо большее, чем на звание «друзей императора»? А другом Божиим, если захочу, я стану вот сейчас ... Так говорил Понтициан, Ты же, Господи, во время его рассказа повернул меня лицом ко мне самому: заставил сойти с того места за спиной, где я устроился, не желая всматриваться в себя. Ты поставил меня лицом к лицу со мной, чтобы видел я свой позор и грязь, свое убожество, свои лишаи и язвы. И я увидел — и ужаснулся, и некуда было бежать от себя ...»

Случайный рассказ Понтициана оказал глубокое эмоциональное воздействие на душу Августина. Он раздражил и озадачил его. Два простых солдата сумели сделать то, на что он, утонченный интеллектуал, не мог решиться. Он не мог спать ночами, ворочался с боку на бок, постоянно носил с собой послания Павла, но то, что так легко дается разуму, очень нелегко сделать сердцем.

Ранним августовским утром 386 года, когда свежий воздух Альп и многочисленных лесов разливался по равнине, умеряя медиаланскую жару, и не допуская грязным испарениям вырваться из тесных городских улиц, отбросив вялость и нерешительность, Августин скинул на пол одеяло, и надел белую тогу и сандалии. В негодовании он кричал, обращаясь к Алипию: «Что же это с нами? Ты слышал? Поднимаются неучи, и похищают Царство Небесное, а мы вот с нашей бездушной наукой валяемся в плотской грязи! Или потому, что они впереди, стыдно идти вслед, а вовсе не идти не стыдно?» Алипий молчал и Августин в крайнем возбуждении направился к двери, и выбежал в небольшой садик, который находился рядом с их домом. «В своей сердечной смуте кинулся я туда, где в жаркой схватке, в которой я схватился с собой, никто не помешал бы до самого конца ее — Ты знал какого, а я нет: я безумствовал, чтобы войти в разум, и умирал, чтобы жить; Я знал, в каком я зле, но не знал, какое благо уже вот-вот ждет меня».

Алепий прошептал: «Что с тобой, Августин?», но ответа не получил. Прославленный ритор, как бесноватый, метался между деревьями с растрепанными волосами и глазами, горящими от гнева. Он был похож на разъя-

ренного зверя в клетке. Наконец он остановился. «Душа моя глухо стонала, негодуя неистовым негодованием на то, что я не шел на союз с Тобой, Господи, а что надобно идти к Тебе, об этом кричали «все кости мои».

Августина легко понять людям, которые пришли ко Христу через истинное покаяние. В нем шло сражение между идеалом, который он издали чувствовал и страстно желал и грехом, к которому он привык и который любил всем сердцем. Читая последние главы VIII книги августиновской Исповеди, которые были написаны спустя 10 лет после его обращения, невозможно не заметить необычное возбуждение автора – короткие фразы, глаголы без дополнения, военная и юридическая лексика. Кажется, что Августин, даже много лет спустя не может успокоиться при воспоминании о действии Святого Духа, приведшего его к умиротворению и разрешению того кризиса жизни, из которого самому человеку никогда не выбраться.

«Удерживали меня, – вспоминает позже Августин, – сущие негодницы и сущая суета – эти старинные подруги мои; они тихонько дергали мою плотную одежду и бормотали: «Ты бросишь нас? С этого мгновения мы навеки оставим тебя! С этого мгновения тебе навеки запрещено и то и это!» – «То и это», – сказал я; а что предлагали они мне на самом деле, что предлагали, Боже мой! От души раба Твоего отврати это милосердием Твоим! Какую грязь предлагали они, какое безобразие! Но я слушал их куда меньше, чем в пол-уха, и они уже не противоречили мне уверенно, не становились поперек дороги, а шептались словно за спиной и тайком пощипывая уходящего, заставляли обернуться. И все же они задерживали меня; я медлил вырваться, отряхнуться от них и ринуться на зов; властная привычка говорила мне: «Думаешь, ты сможешь обойтись без них? ... Я чувствовал, что я в плену у них и жаловался и вопил: «Опять и опять: «Завтра, завтра!» Почему не сейчас? Почему в этот час не покончить с мерзостью моей?»

Это была дуэль до последней капли крови в месте, из которого некуда было бежать – в душе самого человека. Образы Исповеди в этом разделе полны глубочайшего драматизма: смертельное оцепенение охватило Августина. Он упал под смоковницей, которая росла в глубине сада и дал волю слезам. И вдруг, из соседнего дома раздался голос как будто мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев «TOLLE LEGO, TOLLE LEGO» – «Возьми, читай! Возьми, читай!» Этот голос вернул Августина к реальности: «Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное? Нигде не доводилось мне это слышать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне: открой книгу и прочитай первую главу, которая мне попадется ... Взволнованный, вернулся я на то место, где сидел Алипий; я оставил там, уходя, апостольские Писания. Я схватил их, открыл и в молчании прочел главу первую попавшуюся мне на глаза: «... не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облачитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти» (Рим 13.13-14). Я не захотел читать дальше, да и нужно ли было? После этого текста сердце мое залили свет и покой; исчез мрак моих сомнений.

Я отметил это место пальцем или каким-то другим знаком, закрыл книгу и со спокойным лицом, объяснил все Алипию. Он же объяснил мне таким же образом, что с ним происходило; я об этом не знал. Он пожелал увидеть, что я прочел; я показал, а он продолжил чтение: «Немощного в вере прини- майте» (Рим 14.1). Алипий отнес это к себе и открыл это мне».

Августин и Алипий побежали в дом, к Моники, крича в один голос «Матушка!» Ей уже ничего не надо было объяснять ... В этот миг и она ощутила таинственное Присутствие, которое не спешит удалиться. Это и было покаяние, которым заканчивается кризис мирской жизни и начина- ется жизнь вечная.

В этот день какой-то необычно свежий ветерок приласкал Медиолан. Может быть он прилетел с высоких заснеженных Альпийских гор, таких далеких, но ставших внезапно близкими. Он устремил Августина ввысь к Небесной Горе, откуда приходит помощь моя, и на вершине которой поко- ится невидимый грешному взору град – Небесный Иерусалим.

КРИЗИС ЦЕРКВИ

*Б*лагополучно разрешив кризис смысла жизни, Августин сосредоточил всю свою неистощимую африканскую энергию, весь свой талант и знания на церкви, которой он решил посвятить себя полностью и без остатка. Но и здесь его ожидал кризис, и здесь он столкнулся с трудностями и противоре- чиями.

Августин пришел к Богу желая изменить свою жизнь через Иисуса Христа. Именно Иисус и Царство Небесное стало его целью и смыслом, а внутри- церковная жизнь с ее проблемами, спорами, радостями и тревогами не казалась новообращенному Августину достаточно интересной. Он был интеллектуал-мечтатель, писатель и философ, поэтому с первых дней своего обращения он не только расстался с грехом и мирской жизнью, но и реши- тельно покончил с личной жизнью вообще, то есть с жизнью для себя и своих интересов. Отныне для него осталась только «жизнь Царства». Свое будущее Августин мечтал провести в уединенном братском общении, и как писал один из его наиболее известных биографов: «отныне он видел свой жизненный идеал в синтезе философского образа жизни греков, свободного досуга Цицерона и христианского отшельничества».

Завершив преподавание в Медиолане, Августин решил вернуться в Африку, но еще больше года он с друзьями оставался в Италии. В это время, благо- даря своим богатым знакомым и друзьям, он мог вести беззаботную затворническую жизнь, заполненную молитвами, пением и научными занятиями. Именно в этот период он начал писать свои первые философские «Диалоги» в опровержение своих бывших единомышленников-манихеев, как бы чувствуя ответственность за свою прошлую активную деятельность в их пользу.

Смерть матери – Моники, которая скончалась вскоре после его крещения, оказалась для Августина более тяжким, и как он пишет – «сокрушающим

кости ударом жезла Господня», чем он думал вначале. Она еще больше задержала Августина в Италии, но пребывание в шумной столице было ему несносно и в августе 388 года он со своим сыном Адеодатом и с другом Алипием, наконец, вернулся в Африку.

Через Карфаген они приехали в родной Тагаст, откуда почти четверть века назад выехал язычник Аврелий, а теперь в этот город возвращался христианин Августин. Именно здесь он хотел продолжить начатую в Италии жизнь по модели апостольского христианства. Глядя современными глазами можно сказать, что Августин организовал один из первых монастырей. Но Августин не думал создавать организацию, он создавал образ жизни. Это не был монашеский орден августинцев. Такой орден со своим уставом, сложной структурой и разнообразными конгрегациями был официально создан только в XIII веке. А во времена Августина друзья прибыли в провинциальный Тагас, и стали жить общинным братством. Августин продал свое имение, и они поселились в уединенном домике.

Первый биограф Августина, Поссидий, в своем труде «Жизнь Августина» писал, что «все у них было общее и никто ничего не называл своим». В этом братстве не было не устава и правил, хотя позже, организовав такое же братство в Гиппоне, Августин написал для него устав. Но из Тагастского братства всякий мог уйти при первом желании, ибо не было никакого пострига, но никто не уходил, так как сладостно было им жить на опушке дремучего тагастского леса, у самого края ослепительной пустыни Сахары. Как пишет Поссидий, «друзья проводили святую жизнь в тишине, в посте и молитве, в добрых делах и мудрых беседах».

Похоже, что особого умерщвления плоти в этой общине не практиковалось. Поссидий рассказывает, что мера соблюдалась во всем: середина между обилием и скудостью. Для гостей и немощных всегда к обеду было мясо, «вся посуда была глиняная, каменная или деревянная, а ложки — серебряные». Физический труд не был главным приоритетом в этой общине, хотя братья сами себя обслуживали во всем. Главным было богослужение и творческая работа. Основное и единственное правило, которое часто повторял Августин для своих друзей, и для своего самого юного брата — сына Адеодата было: «Dilige et quod vis fac» «Люби и тогда все, что желаешь — делай!».

Для обычного церковного человека, не мыслящего себя вне определенных правил и рамок, такая формулировка звучит почти кощунственно. Неужели и впрямь, такой святой подвижник как Августин, мог такое сказать? Есть же нерушимые правила Божии — что одевать, как поступать, что кушать и когда поститься. Ведь если все начнут поступать кто как хочет или кто как понимает, то будет хаос, где же тогда будет Церковь с ее благочинием и благолепием? Но Августин неотступно повторял вслед за Павлом: «Все мне позволительно» (1 Кор. 6:12). Неужто, без границ и без меры позволительно было все в августиновской общине? Нет, мера была, и мерой всех действий была любовь. Любовь к ближнему и к Богу, а «мера любви к Богу, — не раз говорил Августин, — это любовь без меры».

Действительно, запреты нужны тогда, когда в сердце бушует ненависть. Запреты ограничивают зло. Они не могут уничтожить источник зла, но могут поставить ему преграды. Но когда человек любит — разве нужно ему нужны запреты? Разве стоит его наставлять: не убивай любимого или не кради у любимого? Все уставы бессмысленны. Любящий не будет делать того, что огорчает любимого.

Августин учил любить Бога и ближнего и сам учился этой нелегкой науке. И очень скоро ему на собственной жизни пришлось показать — кого он любит больше: людей, чем себя?

Что могло разрушить тишину Тагастской обители? Даже смерть сына, Адеодата, не заставила Августина оторваться от философской созерцательности, а кажется, что даже привела к некоей радости. «Ты рано прервал его земную жизнь, и мне спокойнее за него: я не боюсь ни за его отрочество, ни за его юность — вообще не боюсь за него». На первый взгляд бесчувствие и бесстрашие сквозит в этой фразе «мне спокойнее за него», но на самом деле в ней слышно глубокое доверие Богу и полное Авраамово повиновение Ему. Такое полное и самопосвященное, что уже никакие семейные узы не привязывают его к земле. Нет ни матери, ни жены, ни сына... Отныне можно еще глубже зарыться в книги и удалиться от мира. Но у Господа был другой план для Августина.

В 391 году довелось Августину приехать в город Гиппон для встречи с человеком, который шел таким же путем интеллектуально-созерцательного познания Бога, как и сам Августин. Августин имел тайную надежду открыть там вторую обитель, подобную тагастской и поэтому отправился пешком в Гиппон, отстоящий от Тагаста почти на 80 км.

Гиппон Регий (или *Nippo Regius* — Гиппон Царский как его тогда называли) был одним из ключевых городов Северной Африки. Это был настоящий римский город, второй по значению порт после Карфагена, совсем не похожий на алжирский город Аннаба, стоящий на этом месте сегодня. Раскопки свидетельствуют о грандиозном форуме, о больших городских банях — термах и главное, археологи нашли остатки очень большой и некогда роскошной христианской церкви, построенной в виде базилики с боковыми пристройками. Судя по размерам и устройству, это была главная епископская церковь Гиппона. Именно в нее, очевидно, и зашел, через несколько дней после своего приезда, Августин.

Отречение от мира и жизнь в духе раннехристианской общины, как это понимал Августин, помимо всего прочего предполагало отречение от всех общественных и церковных обязанностей. Августин любил Христа и Его Церковь, но он даже помыслить себе не мог, что станет ее служителем. Он был трезвомыслящим реалистом, который легко предвидел какие обязанности и проблемы лягут на его плечи, если он станет служителем церкви, поэтому он всегда избегал городов, в которых были вакантные места пресвитеров или епископов.

В тот день, когда по приглашению своего гиппонского друга Августин в первый раз переступил порог базилики Пацис в Гиппоне, там шло церковное собрание. Впереди, на абсиде, освещенной факелом, восседал старый епископ Валерий, грек по рождению, который за многие годы так и не научился хорошо говорить и проповедовать по латыни.

Обращаясь к народу Валерий, говорил, что ему нужен помощник, образованный, твердо стоящий в вере, усердный служитель, который мог бы говорить назидательные и понятные народу проповеди. Августин только вошел в базилику, как внезапно услышал, что кто-то выкрикнул его имя и затем тысячная толпа стала скандировать: «Ав-гус-тин, Ав-гус-тин!» Как попавший в капкан зверек он оглядывался по сторонам, умоляюще прося пощады, но кто-то грубо схватил его за локоть, потом со всех сторон к нему потянулись руки, подхватили его, а потом оторвали от земли и понесли к подиуму, с криками: «Расступись, расступись». Он плакал и вырывался, а его успокаивали и говорили: «Не волнуйся. Мы знаем, что ты достоин быть больше, чем простым пресвитером, ты заслуживаешь епископского сана ... скоро ты его получишь. Валерий стар. Он хороший пастырь, но уже еле держится. Потерпи немного».

Сам Августин на склоне лет говорил, обращаясь к своей пастве: «Я пришел в этот город молодым. Я искал место, где основать обитель, чтобы жить там с братьями моими. Не хотел я быть тем, кем мог бы быть в мире, и не стремился быть тем, кем теперь являюсь ... В другом письме он писал: «В этом причина слез моих, которые, как видели некоторые братья, проливал я в минуту рукоположения моего».

В тот день Августина никто не слушал, его положили на пол к ногам епископа, который стал на колени, возложил на него дрожащие руки и помолился. На следующий день Августин пришел к епископу и сказал: «Я думал, что избранная мною часть Марии никогда не отнимется у меня ради части Марфы. Но я повиновался голосу церкви, позвавшего меня вчера, ибо я узнал в нем Божие повеление. Мне хотелось подобно Петру, наслаждаться Фаворским светом и остаться там навсегда... но Иисус сказал мне, как апостолу Своему: «Сойди с горы, Петр ... возвещай слово, действуй ко времени и не ко времени, опровергай, побуждай, увещевай, трудись, страдай ...»

Сегодня только свободные церкви сохранили раннехристианскую практику избирать служителей общим собранием, да и то все чаще это превращается в формальность. В наши дни ожидается, что молодой человек закончит семинарию, получит рекомендации или направление от старших братьев, потом предстанет перед церковным советом или финансовым комитетом..., но в античные времена было не так. Августин не заканчивал семинарий, но между прочим знал Слово Божье лучше всех современных выпускников, и народ видел это. Он любил Бога. Его любили люди и поэтому поставили на служение.

Но Августин боялся служения в церкви. И возможно не только из смирения, но и из-за тяжести ноши. Он понимал, что придется оставить созерца-

тельную жизнь и начать жизнь деятельную. Когда другого знаменитого подвижника того же времени Иеронима, известного своей бескомпромиссностью и прямоотой, просили стать пресвитером, он согласился с одним условием — чтобы его избавили от пасторских обязанностей и оставили свободное время для творческих занятий. Августин нашел в себе мужество побороть инстинктивное желание интеллектуала сохранить любимые занятия. Любовь к Богу и к ближним оказалась у него больше, чем любовь к созерцательной жизни. И Господь щедро вознаградил его. Августин только теперь стал по-настоящему понимать реальные проблемы жизни, осмысливать себя и обнаруживать присутствие Христа в простых, часто грубых и невежественных членах своей церкви.

Итак, в 36 лет Августин был посвящен в пресвитеры, а через 5 лет, после смерти Валерия, почти так же насильно был посвящен в епископы города Гиппона и на протяжении 40 лет, до самой смерти нес труд в церкви.

Много ли эрудитов-христиан XXI века согласятся подставить свое плечо под ношу церковной жизни? Чаще всего лучшие выпускники семинарий желают посвятить себя академической деятельности, быть преподавателями, и это вполне понятно. Но, не пройдя школы церковного пасторства, трудно понять Христа, Который сошел к простым людям, приходящим в церковь, и в таком случае почти невозможно учить других.

Августин стал безропотно выполнять все церковные служения, которые требовала его должность, а в те времена епископ в полном смысле этого слова служил своей общине, а не церковной иерархии. Каждый день он проводил богослужения, совершал Евхаристию — Вечерю Господню и главное, нес служение Словом. Это была одна из основных обязанностей епископа в то время. Августин проповедовал каждое воскресенье, в праздничные дни, а нередко и в будние дни. До нас дошло около 500 текстов его проповедей, записанных стенографами. Также епископ лично проводил катехизацию желающих принять крещение, и Августин относился к этому очень серьезно.

К этому надо добавить, что епископские обязанности включали в себя управление церковным имуществом и финансами, а также еще один, очень специфический вид служения. С начала IV века, решением первого христианского императора — Константина, государство стало признавать епископскую юрисдикцию в гражданских судебных делах, если одна из сторон решала подать прошение не в светский, а в церковный суд. И надо сказать, что ко времени Августина судящиеся, в том числе и язычники, все чаще старались обратиться к епископу, а не к обычному судье. Епископы были не только более гуманны и непредвзяты, но и, что очень важно, редко применяли пытки, если встречались с противоречивыми показаниями. Это приводило к тому, что почти каждый день Августин, после утреннего богослужения до обеда, был занят судебными разбирательствами. Причем вопросы были абсолютно не церковные — раздел наследства, попечение над сиротами, земельные межи, проблемы собственности.

Трудно представить себе как Августин находил время и силы для творческой работы, для подготовки проповедей, для диспутов и внутрицерковных разборов. Вполне понятны его частые вздохи и слезы от церковного служения. Но с другой стороны такая напряженная, деятельная жизнь заставляла его быть постоянно в форме, не стареть и не расслабляться. Его биограф, Поссидий, задает риторический вопрос по поводу сочинений Августина: «Возможно ли вообще кому-нибудь прочесть все это — 113 законченных трудов (часть из которых очень значительны по объему, например — о Граде Божьем), 218 писем, более 500 проповедей ...» Некоторые книги он писал как бы на одном дыхании, например, «Исповедь», а другие писались многие годы. Скажем, книгу «О Троице» Августин писал двадцать лет, «О Граде Божьем» — четырнадцать лет, а некоторые его книги так и остались недописанными. И все же, несмотря на все тяготы церковной жизни, он считал, что: «в этой жизни... ничего нет более достойного и почетного для человека, чем высокое звание епископа, пресвитера или дьякона. Но нет ничего и более плачевного, пагубного и предосудительного в очах Божиих, чем, если кто исполняет эти обязанности небрежно или с низким устремлением. И равным образом, нет в наше время ничего более трудного, утомительного и опасного, но ничего нет, в очах Божиих, более радостного, чем это высокое звание».

А трудности, с которыми пришлось столкнуться Августину в домостроительстве Церкви Христовой, были самого разного характера. Это были не только обычные церковные неурядицы, связанные с несовершенством рядового церковного люда и служителей, но и серьезнейший церковно-догматический кризис, повлиявший на все последующее развитие христианства.

Недаром плакал Августин, когда его рукополагали на служение. Он как бы предчувствовал кризис, который разразился вокруг самого главного понятия христианства — что есть истинная церковь? Любое ли собрание христиан можно назвать настоящей церковью? Каковы признаки «правильной» Церкви Христовой? Это один из наиболее серьезных и важных вопросов и настоящего времени. Со времен Августина прошло около 16 столетий, а вопрос об истинной церкви по-прежнему является наиболее дискуссионным и трудным для понимания.

Для людей XXI века этот вопрос стоит даже более остро, чем для людей IV века, потому что современные люди имеют гораздо больше свободы и возможности выбора. Сегодня очень много церковных групп и организаций, и каждая конфессия считает, что именно она есть истинная Церковь Христова. Как быть рядовому члену нашего общества, который каждый день слушает обвинения в адрес то одной, то другой конфессии или общины и искренне спрашивает себя и других, а где же правильная вера? Видя такое разнообразие церковных групп, он чаще всего говорит: «Я лучше останусь в той вере, в которой родился», не понимая, что родился-то он в неверии, а не в вере и отказ от самостоятельного, осознанного выбора уже есть выбор, но не в пользу церкви, а в пользу мира.

Во времена Августина кризис Церкви, который заключался в осознании ее самобытности и инаковости от других обществ, был в разгаре и связан он был с так называемым «донатистским расколом». Этот церковный раскол или по-гречески схизма, возник в Северной Африке еще в конце III века.

Североафриканское христианство помнило строгую церковную дисциплину времен Тертулиана и Киприана и их бескомпромиссную, или, как теперь говорят, ригористическую, а иногда и фанатическую позицию по отношению к миру. Церковное сообщество уже в III веке сделалось не только достаточно большим количественно, но и довольно терпимым по отношению к греху. Особенно это стало проявляться в отношении к так называемым отпавшим или «лапси», как их тогда называли. Многие общины III века считали, что если человек во время гонений смалодушествовал и отпал от Христа, то после покаяния такого человека можно опять принять в общину, ибо Господь прощает грешника. Другие же служители полагали, что отпавших даже после покаяния нельзя принимать в общину, так как отпадение в те времена заключалось не просто в оставлении христианского собрания, а в идолопоклонстве.

Во времена гонений, христиан заставляли совершить идолопоклонство, а часто и похулить имя Иисуса, и если они это делали, то освобождались от всяких преследований и мучений, но как можно было потом простить такое? Именно разное отношение к отпавшим, а потом желающим вновь вернуться в церковь, было причиной церковных расколов того времени.

Североафриканские донатисты, названные так по имени одного из их лидеров — Доната, считали, что любое священнодействие, в том числе и рукоположение, совершенное недостойным епископом или пресвитером, «запятнавшим себя предательством» — недействительно. «Дух Святой не действует через нечистые сосуды», а это значит, что общины, служение в которых совершали «недостойные» служители, только по виду являются христианскими, но по сути лишены благодатного Божьего присутствия. Следовательно, им надо покаяться и принять еще раз рукоположение от служителей, которые пережили гонения и сохранили благодать священства.

Гонения закончились задолго до рождения Августина и тех последователей Доната, которые считали, что только их церковное сообщество является чистым, истинным и до конца преданным Христу. В центре их проповедей и общений по-прежнему были разговоры о гонениях, которые проходили почти сто лет назад и о предателях, которых никто из присутствующих никогда не встречал и не знал лично. В Северной Африке это движение было особенно сильно. По некоторым данным более половины христианского населения поддерживало донатистов и не было согласно с официальной церковью. Во всяком случае, в Гиппоне, где нес служение Августин, это было именно так. «Отделенных» было не меньше, чем членов его родной церкви.

Что лежит в основе таких отделений? Можно понять тех, кто начинал это движение. Они действительно хотели видеть церковь как общество святых

и отделенных от мира людей. Но как понять тех, которые спустя десятилетия, когда исчезают гонения и предательство, как причины раскола, продолжают оставаться отделенными? В чем должен был покаяться Августин, который никогда, никакого предательства не совершал и никто из членов его общины не был замешан в этом? Разве неясно, что единство лучше разделения? Разве не о единстве молил Христос Отца в Своей перво-священнической молитве? Разве не через единство мир может узнать, что христиане — истинные дети Отца Небесного? (Ин. 17.21).

Ответы на эти вопросы очевидны. Единство выгодно Христу, разделение — Его противнику, но опыт истории показывает, что раскол, однажды возникнув из самых святых побуждений, почти никогда не заканчивается единством. После отделения возникает новая церковная структура, с новыми руководителями, новой практикой и традициями и вернуться назад, в более сильную и более официальную структуру — это значит потерять свое положение, отказаться от своих взглядов, пусть даже они потеряли актуальность, унизиться, смириться... Разве это легко и просто? Усилия по единству чаще всего наталкиваются на личные амбиции, на обиду и недо-разумения с обеих сторон.

Вопрос, который поставили донатисты перед Августином остро стоит и в III тысячелетии. Что является признаком истинной церкви? Чистая, незапятнанная история? Преемственность рукоположения? Правильное, евангельское учение? Или что-то иное?

Донатисты, как и все ригористически настроенные фундаменталистские группы считали, что истинная церковь там, где сохраняется отделенность от мира и от предателей, но совсем не всегда это проявлялось в отделенности от греха. Донатисты «во имя истины» громили официальные церкви, врвались в города и размахивая «святыми дубинками» с боевым кличем «Laus Deo — Во славу Господа! Бей предателей» убивали, и иногда и зверски мучили «предателей-пресвитеров» официальной церкви. И хотя действовали они абсолютно неправильно, проблему они поставили правильной.

Августин в споре с донатистами много писал и говорит о признаках истинной церкви: «Многие кажутся Церковью, на деле же они не Церковь: многие иные кажутся вне ее, на деле же они в ней ...» То есть Августин прекрасно понимал, что, во-первых, церковь — это люди, посвятившие себя Христу, а не здания, а во-вторых, это люди, которые не только принадлежат к определенной организации, не входят только в одну, замкнутую группу. Говоря о Церкви, Августин дает ей очень оригинальное определение! «Церковь — это целокупный Христос!» В одной из своих проповедей он объяснял: «Голова и тело целокупного Христа, как у совершенного человека, мы же — члены Его... И не только мы в этом собрании, но и все во вселенной. Не только живущие в это время, но ... как сказать? в общем, от Авеля праведного до имеющих родиться при конце мира, всякий праведный, проходящий через эту жизнь ... все это, — единое тело Христово. И каждый в отдельности — член тела!»

То есть, в отличии от донатистов и всех сепаратистов последующих веков, Августин ясно представлял, что Вселенская Истинная Церковь Христова — это собрание верующих всех времен и всех народов, но при этом земная организация Церкви не тождественна этой идеальной Невесте Христовой. Именно в этом пункте проходила главная линия несогласия Августина с донатистами. Он один из первых четко сформулировал отличие между Небесной, Торжествующей Церковью и Церковью Странствующей: «Церковь эта ныне в пути, а исполнится она, соединившись с той Небесной Церковью». А пока Церковь на пути, то есть пока она внешняя, видимая церковь, то в ней есть и праведники и те, кто принадлежит к ней лишь формально. Поэтому видимая церковь имеет свою телесность, как говорил Августин и даже свою смертность: «Смертность была воспринята Господом, а значит и Тело Церкви должно иметь ее. Итак, Церковь имеет свою смертность».

Возможно разъясняя идею «смертности» Августин говорил о законе *permixtio*, то есть о смешения добрых и злых в видимой церкви. Он очень часто приводил в спорах с донатистами, притчи Иисуса о пшенице и плевелах, о неводе, захватившем рыб всякого рода. Донатисты говорили: «Церковь Христа должна быть целиком чиста, и мы чисты, а вы кафолики, признанные государством, предатели (*traditores*) или наследники предателей, а потому должны быть исторгнуты из церкви». Августин возражал: «Это заблуждение и гордыня! Церковь, живущая во времени не может быть непорочна, ибо состоит из людей, живущих в порочном теле. Глава Церкви свят и освящает Собой все тело, но не все члены тела святые по своим действиям. Но даже эти, не святые по своим поступкам члены принадлежат Церкви, как парализованная рука принадлежит телу, несмотря на то, что она не может действовать правильно».

Читая богословские выкладки Августина трудно не согласиться с его идеями, но на практике он, отрицая донатистское сектантство, впал в их же ошибку. Главный признак истинной церкви, считал Августин, является ее Вселенский характер, ее кафаличность, то есть распространенность по всему цивилизованному миру. А этим признаком обладала только та официальная церковь, в которой нес служение Августин.

Во времена Средневековья западная церковь развила эту идею и стала учить, что только она, сохраняя преемственность Апостолов и всемирную, кафалическую организацию представляет Церковь Христову на земле. В противовес этому Лютер в XVI веке заявил, что истинным критерием Церкви является правильное, библейское учение, которое проповедуется в церкви, а не ее распространенность по земле. При этом и Августин, а вслед за ним и вся историческая Западная церковь, и Лютер, а вслед за ним и вся магистерская реформация, практически не обращали внимания на личные качества членов церкви, на их дела и праведность. «Оставим расти то и другое до жатвы, — говорил Августин, а затем его ученик — Лютер, — не обращайтесь на плевелы». Таким образом, если донатисты обращали слишком пристальное, хотя и весьма своеобразное внимание на

посвященность членов церкви, то Августин и Лютер вообще перестали принимать этот фактор во внимание.

Каков же признак истинной церкви для людей XXI века? Видя опыт и ошибки предшественников, следовало бы сказать, что только Господь знает своих. Ни одна церковная организация не является истинной церковью, но в каждой церковной организации собранной во имя Христа есть люди, принадлежащие к Истинной Церкви Христовой. Возможно, кто-то скажет, что это типично постмодернистский взгляд, но Истина требует признать, что акцент должен быть сделан не на видимой организации, а на отдельных людях — членах Единого Невидимого организма — тела Христова.

И все же, — к какой видимой церковной организации следует принадлежать человеку, ибо не принадлежать к видимому телу Церкви нельзя. Как душа не может в этом мире существовать без тела, не может развиваться и совершать свой жизненный путь без тела, так и христианин не может быть членом Невидимой Вселенской Церкви Христовой, не будучи плотью членом поместной церкви. Это очень важное положение, которым многие современные постмодернистские последователи Христа пренебрегают. Они говорят — все церкви плохи, и мы принадлежим Вселенскому Телу Христа. Но не будем обманываться — Христос воплотился, и Плоть Его есть церковь. Но, где же истинная церковь? В наше время люди умеют трезво оценивать действительность: уж если надо быть членом поместной церкви, то конечно самой правильной и истинной!

Выбирая правильную и поместную церкви, следует помнить несколько признаков:

- Во-первых, в церкви должно возвещаться правильное учение Христа в соответствии с Его Словом — Библией. То есть, если в церкви проповедуется не тот Христос, Которого проповедовали Апостолы и Который описан в Библии, например, если в ней считают, что Христос не Бог, а только Сын Божий, меньший Бога-Отца, или если в церкви практикуется обрядность и правила, противоречащие библейским, или в ней другие отклонения — стоит серьезно задуматься, присоединяться ли к такой церкви.
- Во-вторых, поместная Церковь как община, должны состоять из святых, стремящихся к праведной и чистой жизни. Безусловно, если кто-то скажет, что он нашел организацию, в которой все члены святые и не имеют персонального греха — вряд ли стоит верить такому человеку. В любой общине есть несовершенства и пороки. Но вопрос заключается в том, борется ли церковь с грехами или не обращает на них внимание? Безразлична ли поместная церковь хотя бы к грубым, видимым формам греха или она воюет с ними? Если пастор поместной церкви только говорит о чистоте и беспорочности, но не предпринимает никаких мер чтобы уврачевать свое стадо от пороков и оградить от распространения заразы греха, то не следует присоединяться к такой церкви.

Таким образом, можно сказать, что видимая церковная организация должна провозглашать правильное учение и осуществлять его на практике, и при этом не замыкаться в узкую группу людей, а быть равно открытой всем людям и обществу. То есть, выбирая церковную общину надо смотреть не на ее историю, которая может быть самой лучшей и безупречной, не на юридическую или каноническую законность церкви, что весьма почетно и похвально, а на то, чем церковь является сегодня и сейчас. Отражает ли она невидимую, вселенскую церковь Христа? Правильно ли она учит сегодня и правильно ли живет сегодня? Правильность при этом следует вымерять единым общехристианским эталоном – апостольским учением, отраженным в Священном Писании.

Августин правильно понимал теорию церкви, он во всем опирался на Писание, в его трудах позднейшие исследователи нашли 13 267 цитат из Ветхого Завета и 29 540 цитат из Нового, но в практической жизни он был дитя своего времени. Он не мог допустить многообразия церковных общин и с пылом бросился на борьбу с донатистами, призывая к единству, что понималось, как вхождение в одну единственную церковную организацию, в которой находился он сам и которая была признана государством и императором.

Следует заметить, что еще в 380 году император Феодосий Великий своим эдиктом признал единственной государственной религией Римской империи христианство в той форме, в которой его исповедовал папа римский Дамас и папа Александрийский – Петр. Все, кто осмеливался понимать Писание или поклоняться Богу иначе, чем они – становились еретиками, подвергающимися наказанию от Бога и от властей.

Августин стал призывать донатистов вернуться в церковь. На первых порах он действовал только убеждением. «Силой никого нельзя принуждать к вере... все вы, находящиеся в Церкви, не ругайтесь над теми, кто вне Церкви, а молитесь, чтобы они вошли в нее.... к Церкви надо приводить ... словом и разумом» – так говорил Августин в начале своего епископского служения. Но все его аргументы, беседы, проповеди и более 20 работ, написанных против донатистов, оказались бесполезными. Ничего не дали и церковно-дисциплинарные меры – отлучение от церкви, запрет на браки с донатистами и на пожертвования в пользу их церквей.

Началась полоса насилия с обеих сторон. Светские суды начали выносить приговоры против донатистов, а один из самых радикальных толков в донатизме, их боевое ополчение – циркумцеллионы, длинноволосые и устрашающие бородатые, стали совершать не просто вооруженные нападения, но и зверства. В одном из писем Августин пишет: «В Асне, где пресвитером Аргенций, циркумцеллионы ворвались в нашу базилику и разнесли в щепки алтарь». Они не раз подстерегали и самого Августина.

Посидий рассказывает, как не раз вслед епископу кричали: «Манихей, волчина! Кто тебя прикончит, спасет все стадо, ему Бог за это все грехи отпустит! Соблазнитель...» Августин ехал на осле и негромко читал Отче

наш. Из-за тряски, или из-за внутреннего возмущения слова молитвы звучали неровно и прерывисто. Из окон домов, заслышав угрожающие вопли, высывались люди и одобряюще приветствовали своего пастыря. Въехав во двор епископского дома, Августин увидел небольшую группу людей. Один из них подбежал, и радостно пожимая руку Августину, сказал: «А мы так беспокоились о вас! Утром нас предупредили, что циркумцеллионы готовят вам засаду, и мы стали молиться о вас». Проводник, а может быть лучше сказать телохранитель, сопровождавший Августина в пути, с удивлением развел руками – «Теперь понятно, почему мне вдруг пришло в голову ехать не по обычной дороге».

После таких переживаний что-то изменилось в душе Августина. В 411 году в Карфагене, по распоряжению правительства состоялся последний крупный диспут с донатистами. В нем приняли участие 286 представителей официальной церкви и 279 донатистов. Благодаря убедительным доводам Августина, победа официальной церкви была очевидна для всех присутствующих, а особенно для императорских полномочных представителей во главе с трибуном Марцеллианом. Карфагенский собор 411 года стал официально рассматриваться как торжество единства Церкви и водворения Pax Christiana – христианского мира. Но донатисты не подчинились решению императорских послов – трибуна Марцеллиана и проконсула Аpringия которое, впрочем, было предопределено еще до их приезда в Африку. Началось насилие и кровопролитие и, как ни странно, Августин не только стал оправдывать такие действия, но и даже стал богословски обосновывать возможность применения насилия по отношению к еретикам и раскольникам. Он стал ссылаться на слова Иисуса в притче о званых и избранных (Лк. 14.16-24). «Убеди придти» – сказал хозяин слуге, причем эта латинская фраза «Coge intrare», звучит гораздо более жестко, чем ее греческий и русский вариант: «заставь их прийти», то есть прийти тех, кто вне брачного пира.

Вскоре все помещения и здания, принадлежащие донатистам, были отобраны и переданы официальной церкви, епископы-донатисты были сосланы, а некоторые казнены. Верующих насильно загнали к признанным пасторам и, как правило, они уступили насилию. Но цена такой победы оказалась слишком высока, и расплата пришла через многие годы. Почти все историки единодушны в своих оценках, что насильственное обращение донатистов стало закатом гордой Африканской церкви и падением самой римской власти в этой местности.

С 405 года над Римской империей стали сгущаться тучи. Войска варварских племен стали врывать в Италию. Сначала это была 400-тысячная армия во главе с Радагазием, и хотя он был разбит, худшее ждало впереди. Аларих, вождь готов, готовил нападение на Рим. В среду, 24 августа 410 года произошло событие, которое по значимости можно сравнить со взрывом атомной бомбы в Хиросиме. В этот день пал Рим, разграбленный варварами Алариха. Ужасы насилия и надругательства, которые были совершены в Риме, мгновенно облетели всю империю. Отшельник Иероним в Вифлиеме

написал: «Светоч мира погас, и в одном павшем городе погиб или может погибнуть весь человеческий род». И самое печальное было то, что Аларих был христианином, хотя и арианского толка. Это, кстати, и было причиной того, что Рим не был разрушен полностью. Аларих разрешил своим войнам делать все, что им только вздумается кроме одного — они не смели трогать христианские храмы, и только это спасло жизнь немалому числу христиан, спрятавшихся в храмах.

Для многих христиан, не говоря уже о язычниках, падение Рима стало великим соблазном. Рим, который хранил гробницу Петра и Павла оказался разрушенным — где же Бог? А язычники говорили: «Это ваш Христос убил Великого пана, это боги покарали Рим за отступничество». Все это вынудило Августина опять взяться за перо. Позже он вспоминал: «воспламеняясь ревностью о Доме Божьем, положил я написать книги «О граде Божьем», против их (язычников) хулы и заблуждений. Этот труд стал его самым значительным произведением. Как «Исповедь» стала высочайшей историей борьбы добра и зла в отдельном человеке, так и в «Граде Божьем» история всего человечества была показана как реальность борьбы благодати и греха. «Две любви воздвигли два града, — писал Августин, — Град Земной воздвигала любовь к себе, даже до презрения к Богу, а Град Небесный — любовь к Богу, даже до презрения к себе... Спутанные, смешанные в веке сем, два эти Града будут разделены только при кончине века, на Суде Божьем ... Там мы отдохнем и воззрим; воззрим и возлюбим, возлюбим и восхвалим. Вот что будет в конце, без конца».

В этой книге Августин дает богословское осмысление истории человечества и ясно показывает, что назначение этой истории — Церковь Христова. Но пока Град Небесный не стал реальностью Августин, как и все люди мучительно переживал результаты человеческих несовершенств.

В середине тридцатых годов V века сами африканцы призвали вандалов Гейдериха из Испании, которую те уже давно отняли у Римской империи, в Северную Африку. Бонифаций, который в то время управлял проконсульской Африкой надеялся использовать этих варваров в гражданской войне против императорского двора. Вандалы только этого и ждали.

В мае 427 года они беспрепятственно продвигались по африканским пескам, истребляя все, что здесь создала Империя. Орды не спеша переходили из одной области в другую, присоединяя к безмолвию Сахары безмолвие человеческой опустошенности и горя. Путь им открывали распри между бывшими донатистами и официальными христианами, между арианами и ортодоксами. Pax Christiana, достигнутый путем насилия и видимого единодушия, когда все по команде поднимали руки, голосуя «за», оказался миражем и призрачным маревом... Это был только аванс в расплате за небиблейское единство. Позже, когда полчища арабских завоевателей уже с Востока, а не с Запада шли по африканскому побережью, общины Карфагена и Гиппона не оказали им никакого сопротивления. Христианство в этих районах, не имеющее внутреннего духовного единства, оказалось смыто волной ислама, и навсегда исчезло в истории.

Это была расплата за казарменное, полицейское единство. По Африке начал свое шествие бич Божий. Это было время, когда лучшие представители церкви стали понимать — за отступничество Господь справедливо применит Свой карающий бич. Не напрасно архиепископ города Труа на севере современной Франции, встречая безжалостного завоевателя Атиллу, обратился к нему со словами: «Да будет благословен приход твой — Бич Бога, Которому я служу, и не мне останавливать тебя».

Так повторялось в истории неоднократно. Так Всевышний поступал в ветхозаветные времена, когда народ Его отступал от закона, так он поступил с античным христианством, быстро теряющим свою раннехристианскую чистоту и посвященность. Так Он поступил с Российской империей в начале XX столетия, подняв на церковь, погрязшую в обрядности и традиционности злой ветер атеизма. Летом 1920 года в разгар безжалостной Гражданской войны известный поэт Максимилиан Волошин писал:

Расплясались, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек.
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный северовосток.
...
Нам ли весить замысел Господний?
Всё пойдем, всё вынесем, любя, —
Жгучий ветер полярной преисподней,
Божий Бич! приветствую тебя.

Сможем ли мы повторить вслед за поэтом: «Приветствую тебя, Бич Божий экономических и межнациональных, этнических кризисов?» Сможем ли понять — как Бог сегодня очищает церковь Свою?

Жизнь в период катастроф действительно сложна. Нелегко найти правильный критерий поступков, верное и устойчивое направление, твердые и неизменные принципы, а еще труднее найти силу жить по этим принципам. Августин, хотя и допускал искажение евангельских принципов в церковно-политических вопросах, а его не случайно называют первым теоретиком инквизиции, все же никогда сам не был инквизитором. С момента обращения и до последнего вздоха он поступал по-христиански и умирал по-христиански.

В июне 430 года вандалы и аланы подступили и Гиппону и осадили его. Поссидий, который в те дни был рядом с Августином, описывает, что его учитель, которому было уже 75 лет, всю свою энергию направил на подкрепление и утешение своей паствы. Когда свирепствует зло, многие теряют веру, и Августин вдохновлял осажденных, упованием на Бога и на красоту Града Небесного. Он постоянно рассказывал о Небесной Отчизне так, как будто видел ее воочию: «Что же, любя Тебя, люблю я? Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света, столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов, мазей и курений, не манну и мед, не члены, приятные земным объятиям, — не это

люблю я, любя Бога моего. И, однако, я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу и, некие объятия — когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека — там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеется ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего» — вот о чем проповедовал Августин в эти страшные дни в Гиппоне. «Варвар не отнимет того, что стережет Христос» — повторял он.

Однажды, сидя вместе с Поссидием за столом старец сказал затаенное: «Знаешь, как я молюсь сейчас? Боже, да будет угодно Тебе избавить город от окруживших его врагов, или дай рабам Твоим силу все претерпеть до конца или забери меня из мира сего и возьми в Себе!» Первое Господь не исполнил, второе исполнил частично, а третье выполнил до конца.

На третий месяц осады в знойные августовские дни Августин не вышел из своей комнаты. Он заболел лихорадкой, которая, казалось, ощутимо повисла в зачумленном воздухе осажденного города, отрезанного от моря. В первые дни болезни он еще принимал всех посетителей. Однажды к нему пришел пожилой гиппонец со своим больным сыном и просил, чтобы он помолился над ним с возложением рук для исцеления. «Если бы я мог это сделать, то начал бы с себя», — ответил Августин, но все же встал и совершил молитву. Через несколько дней стало слышно, что сын здоров, а Августин уже не поднимался. Поссидий пишет, что в последние дни Августин велел никого не впускать в свою комнату. Он хотел молиться. По его просьбе один из его стенографов написал крупными буквами тексты покаянных псалмов и он лежа смотрел сияющими глазами на большие листы пергамента, развешанные на противоположной стене и беззвучно шевелил губами. Он знал, что умирает, и его иссохшее тело уже с трудом удерживало сияющую ярким светом душу, осознающую невыразимое Присутствие, исполненное любви.

«Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная,
поздно полюбил я тебя, —
беззвучно звучали в пустой комнате слова его Исповеди, —
Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою...
Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою...
Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без Тебя...
Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду...
Ты коснулся меня, и я загорелся о мире твоём...»

Великое сердце успокоилось в Господе 28 августа 430 года. Завещания он не оставил, потому что ничего не имел, только книги велел спрятать в безопасное место «для потомков».

В этот день пение, которое доносилось из-за стен Гиппона, было не такое как обычно. Еще в начале осады Августин установил правило, которое ввел еще его учитель, Амвросий, в осажденном Медиолане: на закате солнца все

христиане города выходили на улицу и вместе пели, прославляя Бога.
В этот августовский вечер варвары были удивлены тихим, жалобным пением.
Посидию казалось, что светоч мира погас и сделалось темно, как в комнате,
в которой задули свечу.

Блажен, кто в дни борьбы мятежной,
В дни общей мерзости людской
Остался с чистой, белоснежной,
Неопороченной душой.

(Сергей Бехтеев. Май 1921 года)

На четырнадцатый месяц осады Гиппон пал. Старый, античный мир умирал...

Что может стать надежной порукой в этом земном граде, который по сути
есть град дьявола? Только обретение и сохранение Царства Божьего в сердце.
Ни христианство по рождению, ни запись в церковной книге, а только
личная печать Божия поможет человеку пройти жизнь в эпоху катастроф
без личной катастрофы.



ИСПОВЕДЬ

АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА

«ИСПОВЕДЬ» АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА, НАПИСАННАЯ в последние годы IV века, является, очевидно, самым впечатляющим произведением во всей истории христианской литературы. Это шедевр высочайшей поэзии, философии и богословия одновременно. Написанная в форме молитвы, обращенной к Богу, Исповедь — это не просто рассказ о грехах автора и его пути к Богу, а это вопль мятущейся души, пытающейся осмыслить себя, Бога и все то, что происходит в окружающем мире... И написана эта книга так неподражаемо высоко, что порой чувствуешь себя стоящим на скале, у самой кромке обрыва — вниз смотреть страшно, а выше некуда, и комок в горле... Секрет того, что эта книга выдержала неисчислимое количество переводов и изданий очевидно не в том, что Августин был прекрасным оратором и писателем, хотя он действительно был таковым, а в том, что он всего себя посвятил Тому, Кого он бесконечно полюбил — Всевышнему возлюбившему его прежде. Восторженное поклонение души, слившейся с Создателем — вот в чем достоинство августиновской Исповеди. Читая полный текст этой книги можно не согласиться с некоторыми богословскими рассуждениями автора, но нельзя не согласиться с его искренностью и радикальной посвященностью Христу. Поэтому, безусловно стоит познакомиться с этими древними, но удивительно современными строчками, которые написаны для тех, кто запутался в себе и ищет света и правды. Ниже представлены фрагменты из «Исповеди» в переводе преподавателей Киевской Духовной Академии конца XIX в.



Ты создал нас для Себя, и душа наша дотеле томится и не находит себе покоя, доколе не успокоится в Тебе.

Кто же Ты, Господи мой? Высочайший, совершеннейший, всемогущий, всеблагий и всемилосердный, в высшей степени правосудный и справедливый, недоступный и всем присущий, истинная красота и необоримая сила, неизменный, но изменяющий все, нестареющий и необновляющийся, но обновляющий все и старящий гордых в их неведении, всегда покоящийся и вечно творящий, все собирающий и ни в чем не нуждающийся, все носящий, наполняющий и поддерживающий, питающий и совершенствующий, обо всем заботящийся и ни в чем не имеющий недостатка.

Ты любишь, но не волнуешься, ревнуешь, но не тревожишься, раскаиваешься, но не скорбишь, гневаешься, но не возмущаешься, изменяешь дела, но не изменяешь намерений, воспринимаешь, но не теряешь, ни в чем не нуждаешься, но, приобретая, радуешься, не корыстен, но требуешь лихвы. Тебе воздается, чтобы склонить к щедрости, но у кого есть что-либо, что не от Тебя? Ты воздаешь, платя долги, но кому же Ты должен? Прощая, оставляешь долги, ничего не теряя. Но что все слова мои, Господи мой, жизнь моя, радость и утеха моя? Но горе безмолвствующим о Тебе, когда и много-речивые немеют.

Тесна хранина души моей, как войти Тебе в нее и как поместиться? Но Ты расширь ее. Она в руинах — восстанови и обнови ее. Знаю, много есть в ней нечистого, что оскорбит взор Твой, но кто очистит ее? К кому, как не к Тебе воззову я: «От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною»?

Но все же дозволю мне, Господи, хотя я — прах и пепел, дозволю мне пред Твоим милосердием возвысить голос мой. Ведь я взываю к милосердию Твоему, а не к человеку, могущему высмеять меня. Пускай и Ты посмеешься, но Ты же, сжалившись, и помилуешь.

Исповедую Тебя и исповедуюсь, Господи Боже, Владыка неба и земли, и благодарю за начаток жизни и младенчество, которых не помню, но о которых Ты даровал возможность догадываться и верить, слушая рассказы кормилиц и нянек и наблюдая за другими. Откуда же могло произойти это живое существо, как не от Тебя, Господи? И есть ли кто на свете, кто создал бы себя сам? И можно ли представить другую причину нашего бытия и нашей жизни, кроме Тебя, Господи, Творца и Создателя нашего, в Котором бытие и жизнь — неразделимы, ибо Ты сам — высочайшее бытие и высочайшая жизнь? Ты — Всевышний, Ты — неизменный. Для Тебя не проходит настоящий день, хотя он и проходит, ибо все — в Тебе. И как он мог бы пройти, когда бы неизменно не пребывал в Тебе? «Ты — тот же, и лета Твои не кончаются» (Пс. 101.28); эти лета Твои — не всегдашний ли, один и тот же непрерывный день? Сколько дней и лет наших протекли через этот Твой неизменный день, в нем и через него изменяясь, сколько еще протечет! И все наше прошлое, все будущее — все у Тебя в Твоем вечном сегодня. Кому-то неясны слова мои? — что за беда! Пусть молится не о том, чтобы искать Тебя, но чтобы найти, ибо стократ лучше не искать, но найти, чем, ища, не находить Тебя.

* * *

*В*детстве моем, таившем меньше опасностей, нежели юность, я не любил занятий и не терпел, когда меня к ним принуждали; меня же к ним принуждали, и это было благом для меня, но я противился благу; если бы меня не принуждали, я бы и не учился. Принуждение человека к чему-либо против его воли — не есть добро, даже если то, к чему его принуждают — добро. И принуждавшие меня поступали дурно, хорошим же это стало для меня по Твоей воле, Боже. Это начальное обучение, благодаря которому я обрел возможность читать и писать, было, конечно же, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня заставляли учить о скитаниях какого-то Энея, забывая о своих собственных, плакать над Дидоной, покончившей с собою из-за любви, в то время как сам я, несчастный, умирал для Тебя, Господи, любовь Моя.

Воистину, жалкое зрелище: оплакивающий Дидону, умершую от любви к Энею, не оплакивает себя, умирающего из-за отсутствия любви к Тебе, Господи, светоч сердца моего, хлеб души моей, сила ума моего, лоно мысли моей. Я не любил Тебя и изменял Тебе, и гул одобрений сопровождал изменника. Дружба с этим миром — измена Тебе; ее приветствуют и одобряют, и люди стыдятся быть не такими, как все.

Внемли, Господи, молитве моей, да не ослабеет душа моя под водительством Твоим, да не ослабею я сам, свидетельствуя пред Тобою о милосердии Твоем, отвратившем меня от злых стезей моих. Будь сладостнее всех

сладостных соблазнов, соблазнявших меня. Да возлюблю Тебя всеми силами души моей, да прильну к Твоей благодати всем сердцем моим. Избави меня, Господи, от всех искушений до конца моих дней. Да служит Тебе, Господи, Царь мой, Бог мой, все то доброе, чему выучился я отроком: и слово мое, и писание, и чтение, и счет. Когда увлекали меня суетные науки, Ты взял меня под Свое начало и отпустил мне грехи моего суетствования. Ведь многое даже из того пошло мне на пользу, хотя я мог бы познать все это занимаясь и чем-нибудь лучшим.

Сколь далек был от лица Твоего я, омраченный похотью сердца моего. Ведь уходят от Тебя и возвращаются не перебирая ногами в пространстве.

Взгляни, Господи, взгляни долготерпиво, как тщательно выполняют сыны человеческие правила составления букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров красноречия, и сколь небрежны они в соблюдении полученных от Тебя непреложных правил вечного спасения! Ведь если человек, обучающий ораторскому искусству, произнесет слово *hoto* без придыхания в первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, если он, вопреки заповедям Твоим, возненавидит другого человека.

* * *

Я хочу вспомнить сейчас все прошлые грехопадения мои и похотствования души не затем, чтобы любоваться ими, но чтобы еще сильнее возлюбить Тебя, Боже. Вспоминая о путях нечестия своего и горестно размышляя над ними, я стремлюсь лишь к одному: чтобы Ты стал единственной любовью моею, любовью истинной, неисчерпаемой и неизменной; хочу, чтобы Ты собрал меня, рассеянного и раздробленного в своем удалении от Тебя, воедино.

Что же доставляло мне наслаждение, как не любить и быть любимым? Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, останавливаясь на светлом рубеже дружбы; туман поднимался из болота плотских желаний и бывший ключом возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое, и за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизнам страстей и погружали его в бездну пороков. Возобладал надо мною гнев Твой, а я и не знал этого. Оглух я от звона цепи, наложенной смертностью моей, наказанием за гордость души моей. Я уходил всё дальше от Тебя, и Ты позволял это; я метался, растрчивал себя, разбрасывался, кипел в распутстве своем, и Ты молчал. О, поздняя Радость моя! Ты молчал тогда, и я уходил всё дальше и дальше от Тебя, в гордости падения и беспокойной усталости выращивая богатый посев бесплодных печалей.

Страсти кипели во мне, несчастном; увлеченный их бурным потоком, я оставил Тебя, я преступил все законы Твои и не ушел от бича Твоего; а кто из смертных ушел? Ты всегда около, милосердный в жестокости, посыпавший горьким-горьким разочарованием все недозволенные радости мои, — да ищу радость, не знающую разочарования. Только в Тебе и мог бы я найти

ее, только в Тебе, Господи, Который создаешь печаль в поучение, поражаешь, чтобы излечить, убиваешь, чтобы мы не умерли без Тебя.

Где же был я, как долго скитался вдали от истинного утешения — дома Твоего? Мне было шестнадцать лет, когда покорило плоть мою сумасбродство и бешенство похоти, извиняемое человеческим бесстыдством, но воспрещаемое законом Твоим.

* * *

Закон Твой, Господи, закон, начертанный в наших сердцах, а равно и законы мирские преследуют и карают за воровство. Я же воровал не от бедности и нужды, а из любви к неправде. Я украл то, что было у меня в изобилии; мною руководила не жажда обладать похищенным, а наслаждение от самого воровства и греха.

Неподалеку от нашего виноградника росла груша, вся покрытая плодами, вполне, впрочем, обычными и по виду, и по вкусу. Итак, мы, испорченные юнцы, отправились в глухую полночь (вот до какого часа продолжались наши уличные забавы!) отрясти ее и собрать свою добычу. Мы унесли оттуда большую ношу, но не для еды (мы готовы были выбросить все это свиньям), а ради совершения поступка, сладостного нам только потому, что он был запрещен. Так, Господи, сердце мое, над которым Ты сжалился, оказалось на краю бездны. Пусть теперь ответит оно Тебе, зачем стремилось оно ко злу безо всякой нужды и цели. Порочность моих поступков породилась внутренней порчей; и я любил ее, любил свою погибель, свое падение и само дно любил я, падшая душа, низринутая из крепости Твоей; порок не был для меня средством, он был моей целью.

Есть своя прелесть в красивых телах, и в золоте, и в серебре, и во многом другом подобном. Зрению, например, приятна гармония частей, другим чувствам приятны иные свойства. Своя красота есть и в земных почестях, и во власти, и в стремлении раба стать свободным. Но недопустимо одно: в погоне за всем этим нарушать законы Твои, Боже, и удаляться от Тебя. Много есть хорошего в этой нашей земной жизни, и лучшее из всего — дружба, связывающая милыми узами многих в одно. Но как часто, увлекшись этими низшими благами, человек покидает лучшее и наивысшее — Тебя, Господи, правду Твою и закон Твой. Сладостны эти низшие блага, но не столь сладостны, как Ты, Боже, сотворивший все; «Праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него» (Пс. 63.11), ибо Он — высшая улада праведных сердцем.

Когда спрашивают о причине, побудившей человека совершить преступление, то, как правило, называют одну из двух: или стремление получить какое-либо из низших благ, или страх перед его потерей. Сами по себе эти блага могут быть красивы и почетны, но что они по сравнению с высшим Благом? Почему совершено убийство? Убийца влюбился в жену своей жертвы, или позарился на его имя, или же грабил его, по нужде ли, или из зависти, или тот преследовал его и хотел разорить, или нанес ему жестокую

обиду. Кто поверит в убийство ради убийства? Даже если речь идет о бессердечном безумце, находившем радость в самой жестокости, приводится своя причина: «Дабы рука и душа не становились вялыми от бездействия». То есть он (Катилина) множил свои преступления затем, чтобы приобрести все новые почести, богатства и власть, не бояться законов и не отвечать за предыдущие преступления. Выходит, и Катилина любил не сами свои преступления, а совершал их ради чего-то другого.

Так что же меня, окаянного, влекло к тебе, постыдное воровство мое, презренный ночной проступок, совершенный мною на шестнадцатом году жизни моей? В самом воровстве, как воровстве, не было ничего привлекательного. Что же мне сказать Тебе, Господи? Что были прекрасны плоды, как прекрасно и все, созданное Тобою, ибо Ты — прекраснейший и всеблагий Господь, Творец всего, высшее и истеннейшее Благо мое? Да, они были прекрасны, но не их желала душа моя. У меня их было предостаточно, причем гораздо лучших. Я своровал лишь затем, чтобы своровать; ворованное же я выбросил, ибо истинной добычей моей была неправда моя. А если какой из тех плодов я и попробовал, то лишь потому, что это был десерт, обедом же было само преступление. Но что это, Господи, был за обед! Была ли в нем красота справедливости и того разумения, что находим мы в нашем уме, памяти, живости чувств? Было ли в нем что-либо от прелести звезд, моря и земли? Увы, в нем не было даже той ущербной красоты, какую можно найти в обычном прелюбодеянии.

Итак, что же влекло меня к тому воровству? В чем стремился я уподобиться тени Твоей? Было ли мне приятно обмануть закон, открыто воспротивиться которому я не смел, и вот я, жалкий раб, безнаказанно создал себе иллюзию свободы, тень и подобие всемогущества? О, похоть и тщета жизни, о, бездонный колодец смерти! Как манит то, что запретно, только потому, что запретно!

* * *

Увы мне! Как посмел я говорить, что Ты, Господи, безмолвствовал, когда я удалялся от Тебя? Неужто же это было безмолвием, когда Ты говорил со мною через верную рабу Твою, мою мать? Но и этот голос не проникал в сердце мое, и я не внимал ему. Мать заботливо внушала мне, когда мы оставались наедине, чтобы я остерегался прелюбодеяний, в особенности же с замужними женщинами. Но эти материнские советы казались мне чем-то слишком женским, и я стеснялся прислушиваться к ним. Между тем, то был голос Твой, но я не замечал этого и не мог понять. Я думал, что она говорит от себя, и в лице рабы Твоей ее сын уничтожал Тебя.

С безумным ослеплением хватался я за все дурное, стыдась, что среди сверстников моих было немало более порочных, чем я. Странное это было общество: здесь гордились пороками и стыдились добродетелей, и я пустился во все тяжкие не столько из пристрастия к дурному, сколько ради победы в состязании по удалству.

Любить и быть любимым — значило для меня овладеть предметом моей любви. И я мучил источник дружбы грязью похоти, туманил ее чистое зеркало адским дыханием страстей. Как я хотел, мерзкий и бесчестный в жалкой суетности своей, казаться благородным и достойным! Я жаждал весь погрузиться в любовь. Боже милосердный, сколько горечи, в безмерной благодати Твоей, добавил Ты мне в эту сладость! Я испытал и любовь, и взаимность, и прелесть наслаждения, и радостное скрепление гибельной связи, а вслед затем — и подозрения, страхи, гнев, ссоры и жгучие розги ревности.

Но неизменное милосердие Твое не оставляло меня. Я предавался великим беззакониям, погряз в кошунственном любопытстве, покинул Тебя ради угождения обманчивых демонов злыми делами своими. Даже во время службы в церкви Твоей я горел похотью и улаживал свои делишки, за что и был покаран Тобою, но сколь милостиво сравнительно с прегрешением моим! О, неизменно милосердный Господь мой, прибежище мое; среди скольких опасностей скитался я вдали от Тебя. Я искал свои пути и брезговал Твоими, любил свободу — свободу беглого раба!

Теперь, Господи, все это уже позади; время залечило рану мою. Позволь же приблизить слух сердца моего к устам Твоим и услышать от Тебя, непреложной Истины, почему слезы столь сладостны несчастным? Или Ты, вездесущий, сторонись наших бед? Ты пребываешь в Себе, нас же кружит вихрь испытаний. Но, однако же, стенания наши достигают слуха Твоего. Так почему посевы горестей наших дают сладкие всходы, почему находим мы отраду в стенаниях и плаче, вздохах и сетованиях скорби? Возможно, потому, что надеемся при этом быть услышанными Тобою? Но для этого существуют молитвы, в которых ясно выражается это желание.

* * *

*Т*ак прильните же к Создавшему вас; стойте с Ним, и устоите; успокойтесь в Нем, и покойны будете. Куда стремитесь вы, безумцы? В какой мрак? Ведь все доброе, что вы любите, от Него, но только в Нем оно — сладостно, вне Его — горько, ибо несправедливо любить доброе и отвернуться от Того, Кто это доброе дает. Зачем же скитаться путями кривыми — там не будет для вас покоя. Вы ищете там покоя, но там его нет. Жизни блаженной взыскуете вы в стране мертвецов, но не находите, ибо там нет никакой жизни.

Спустилась к нам сама Жизнь, и унесла смерть нашу, вырвала жало ее. Прозвучал зов Его, призывая нас к Нему, в святилище тайное. Оттуда спустился Он в девственное чрево, где сочелась с Ним наша природа, плоть смертная, дабы обрести жизнь; и вот уже Он выходит оттуда, «как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще». И Он не медлил, но устремился к нам, словами и делами, жизнью и смертью, сошествием и вознесением призывая нас вернуться к Нему. Он ушел от нас и вернулся, дабы пребыть в сердцах. «В мире был, и мир чрез Него

начал быть, и мир Его не познал». Ему исповедуется душа моя, прося исцеления, ибо согрешила она пред Ним. «Сыны мужей! доколе будете любить суету и искать лжи?». Жизнь спустилась к вам — почему не хотите подняться и жить? Но как подняться тем, которые «поднимают к небесам уста свои»? Спуститесь, и подниметесь, ибо вы пали, восстав. Скажи им это, душа, увлеку их к Богу, ибо если говоришь с любовью, то от Духа Святого слова твои.

* * *

Утак, в путях промысла Твоего мне было положено, чтобы я отправился в Рим, думая заняться там преподаванием того, что до сих пор преподавал в Карфагене. Что же побудило меня к этому, как не Твоя неисследимая глубина и милосердие Твое, всегда сопresentствующее нам. Поэтому, когда из Медиолана к перфекту Рима поступило прошение подыскать для их города учителя риторики и разрешить ему проезд на казенных лошадях, то я, действуя через знакомых манихеев, хотя прежде всего я стремился избавиться именно от их общества, стал добиваться этого места.

Я приехал к епископу Амвросию, достойнейшему и достохвальнейшему из людей нашего времени, благочестивому служителю Твоему, чьи проповеди питали верующих как бы «туком пшеницы, медом из скалы». Ты привел меня к нему, Боже, дабы он привел меня к Тебе. Сей человек Божий отчески принял меня, и я сразу полюбил его, вначале, правда, не как учителя истины, найти которую в Церкви Твоей я тогда и не мечтал, но как человека доброго и благожелательного. Я прилежно выслушивал его проповеди, но не ради их содержания: меня интересовало, соответствует ли его красноречие его славе.

Ко мне приехала моя мать, непоколебимая в своем благочестии, следовавшая за мною повсюду, по суше и по морю, и при всех невзгодах возлагавшая все упование на Тебя. Прибыв в Медиолан, она застала меня в полной растерянности, отчаявшегося отыскать истину. Она оплакивала меня пред Тобою как умершего для настоящей жизни, но требующего обновления для жизни будущей.

Душа моя томилась по истине, но я все еще медлил обратиться за помощью к Тебе. На Амвросия же я смотрел по обычаю плоти: как на любимца фортуны, пред которым трепетали сильные мира сего. Одно только смущало меня и казалось тягостным — его безбрачие. Я и представить себе не мог ни его возвышенных упований, ни искушений и внутренней борьбы, ни утешений в горестях и тех радостей, которыми Ты, Господи, питал душу его. Впрочем, и он не знал о моих душевных потрясениях, не видел пропасти гибели моей. Сойтись с ним ближе, при всем желании моем, я не мог, ибо он был обременен массой обязанностей, помогая множеству людей, и эта толпа разделяла нас.

Тем не менее, с этого времени я стал отдавать предпочтение ортодоксальному учению, постигая, что его требование верить в невидимое, в то, что

недоказуемо, гораздо основательнее и скромнее, чем безрассудные обещания манихеев представить доказательные знания, впоследствии сводившиеся к таким нелепым бредням, которые здравый разум не только не в силах доказать, но и принять на веру. Когда Ты, всеблагий и всемилостивый Боже, усмирил горделивое сердце мое и должным образом настроил мой разум, я стал соображать, как много принимал я на веру такого, чего никогда не видел, опираясь лишь на свидетельства других, например: сколько многому я верил в истории народов, стран и городов, сколько раз верил на слово друзьям, врачам, самым разным людям — ибо без подобного доверия немыслимо существование человеческого сообщества; наконец, как непоколебимо я был уверен в своем происхождении от родителей моих, чего, конечно, я не мог знать на основании собственного опыта. Ты убедил меня, что следует осуждать не тех, кто верит Писаниям Твоим, но тех, кто им не верит, тогда как Писания эти по мудрому устройению Твоему авторитетны по всему миру. Ты внушил мне, что не должно слушаться тех, которые стали бы говорить; «Где доказательства того, что эти книги были преподаны роду человеческому по внушению единого и истинного Бога?»

* * *

Я жаждал почестей, денег и плотской любви, но Ты посмеялся надо всем этим. Обуреваемый страстями, я пребывал в бедственном положении, но Ты являл мне любовь Свою и милость, не позволяя увлечься чувственным, которое удалило бы меня от Тебя. Вот сердце мое, Господи, исповедующееся пред Тобою. Да прилепится к Тебе душа моя, которую ты исторг из сетей смерти, опутавших меня с ног до головы. Как несчастна была душа моя, Ты же еще более растравливал раны ее, чтобы она, оставив все тленное, обратилась к Тебе, Который выше всего и без Которого не было бы ничего, и обрела в Тебе спасительное исцеление. Как жалок я был, и как дал Ты мне ощутить все ничтожество мое!

Случилось так, что в тот день, когда я собирался произнести похвальную речь императору, в которую, следуя советам знатоков красноречия, я вплел немало лести и лжи, когда душа моя задышалась от заботы среди изнуряющих дум, лихорадочно мечась из стороны в сторону, я, проходя по одной из медиоланских улиц, заметил нищего, веселого и слегка хмельного. Меня охватило какое-то странное успокоение, и я заговорил с друзьями о том, как страдаем мы от собственного безумия; уязвляемые желаниями, мы влачим за собою груз своих несчастий, умножая их собственными усилиями, вроде тогдашних моих, и желаем при этом одного: достичь покоя и блаженства. Достигнем ли мы этого — Бог весть, но ясно, что этот нищий опередил нас. Выклянчив несколько жалких монет, он достиг счастья преходящего благополучия, к которому я шел такими извилистыми и тяжелыми путями. У него, правда, не было настоящей радости, но была ли истиннее та, которую я искал на путях моего тщеславия? При этом он веселился, а я пребывал в тоске, он был спокоен, меня же снедала тревога. Если бы кто-либо спросил меня, что бы я предпочел, радоваться или

бояться, я, несомненно, отвечал бы, что — радоваться. Но если бы тот же человек спросил меня, предпочел бы я оказаться сейчас на месте этого нищего, или же остаться самим собой, измученным заботой и страхом, моя развращенность подсказала бы мне ответ: «Самим собой»; я кичился своей ученостью, хотя наука, учившая меня угождать другим, не приносила мне радости. Так посохом учения Своего Ты «поражал кости мои».

Да не смутят душу мою уверения тех, кто скажет, что есть разница в том, чему радуется человек, что, дескать, нищий радовался вину, а ты — славе. Какой славе, Господи? По крайней мере не той, которая в Тебе. Чем истиннее была радость от славы радости от вина? Разве что тем, что слава крепче ударяла в голову. Нищий к утру протрезвеет, а когда протрезвею я? Да, есть разница в том, чему радуется человек: радость верующего и надеющегося несравнима с пустою радостью от преходящих благ. Но и тогда, пожалуй, радость нищего была совершеннее моей: он был счастливее не только потому, что был весел и спокоен, а меня угнетали заботы, но и потому, что он выпросил себе на вино, осыпая людей добрыми пожеланиями, я же хотел утолить свое тщеславие ложью.

Тем временем множились мои печали. Предполагаемая женитьба вынудила меня расстаться с той, с которой я жил многие годы. Сердце мое, привязанное к ней, разрывалось от горя. Она вернулась в Африку, дав Тебе обет не знать другого мужа и оставив мне на воспитание незаконнорожденного нашего сына. Я же, жалкий, не нашел в себе сил хотя бы отчасти подражать этой женщине; не вынеся отсрочки, тех двух лет, что оставались до вступления в брак, я, раб похоти, сблизился с другой. Болезнь души моей все усиливалась, не заживала также и рана, вызванная разрывом с моей первой сожительницей; боль уже не была столь острой, но рана гноилась, принося все новые страдания.

Хвала Тебе, Господи мой, источник всяческого милосердия. Я становился все несчастнее, но Ты — все ближе. Ты простер уже руку Свою, дабы вытащить меня из трясины, но я еще об этом не знал. Я, пожалуй, еще глубже погрузился бы в омут телесных наслаждений, когда бы не сдерживал меня страх смерти и грядущего суда Твоего, который никогда не оставлял меня. О, похоти плотские; горе дерзкой душе, вознамерившейся найти нечто лучшее вдали от Тебя. Как ни крутилась она, как ни вертелась с боку на бок — все ей было жестко. Ибо в Тебе одном — ее покой. И вот — Ты здесь, освобождая нас от жалких заблуждений и направляя на пути Свои. Ты утешаешь нас и говоришь: «Я создал, и буду носить, поддерживать и охранять вас».

И вот уже умерла молодость моя, преступная и злая, и я вступил в пору зрелости, и чем старше я становился, тем отвратительнее были мои пустые бредни. Я не мог вообразить никакой другой сущности, помимо той, которую привык видеть телесными глазами. Понимая, что Тебя, Господи, нельзя представлять в человеческом образе, я, однако, не мог уразуметь, как же иначе можно Тебя представить.

Я представлял себе Тебя, Господи, как нечто великое и бесконечное, разлитое повсюду и отовсюду проникающее во вселенную: и землю, и небо, и все, что выше неба; все это завершается в Тебе, Ты же — не завершаешься нигде. Так думал я, не умея помыслить ничего бестелесного, и это была ложь. Ибо в таком случае большее пространство имело бы больше Тебя, меньшее же — меньше. Ты наполнял бы все, но в большом слоне Тебя было бы гораздо больше, чем в маленьком воробье. Ты даровал бы Себя частями различным частям мира, и большим уделял бы Себя много, а малым — мало. Конечно же, это не так, но в то время Ты еще не просветил мрак, плотно окутывавший меня.

Хотя я и утверждал и твердо верил, что Ты свят, нетленен и неизменяем, Господи наш, Бог истинный, сотворивший не только души, но и тела, но меня все еще смущала природа зла. Я старался уразуметь слышанное, что причиной зла является свободная воля; из-за нее мы творим зло и претерпеваем справедливые кары Твои; но сколько я ни думал, смысл сказанного от меня ускользал. Пытаясь извлечь из бездны мой бедный разум, я вновь проваливался в нее; поднимался и падал вновь и вновь. Меня поднимало к свету Твоему то, в чем я был уверен: у меня есть воля. Когда я желал что-нибудь или отвергал, то твердо знал, что желаю или отвергаю именно я, и никто другой; за этим пониманием уже начинала проступать причина моего греха. Но видел я и поступки, совершенные против воли, в которых я выступал скорее как страдательное, а не деятельное начало; они были не столько виной, сколько наказанием. Признавая Тебя справедливым, я признавал и наказание.

Но далее я задавал себе вопрос: «Кто создал меня? Разве не Бог мой, Который не просто благ, но суть высшее Благо? Почему же у меня возникают желания дурного и нежелания доброго? Неужто потому, что меня надо справедливо карать? Кто привил ко мне сей горький побег, если я целиком — от сладчайшего Господа моего? Если диавол, то откуда сам диавол? И откуда в нем взялась извращенная воля, по которой он стал диаволом, если ангелы были сотворены добрыми всеблагим Творцом?» Эти размышления вновь сокрушали меня, хотя я и не доходил до той бездны заблуждения, где нет памятования о Тебе и где никто уже не славит Тебя, где предпочитают во всем винить Тебя, а не себя.

Я искал, откуда зло, и не находил ответа. Как и откуда проникло оно в мир? Где корень его, где семя? Или его вовсе нет? Тогда чего же боимся мы, от чего убегаем? Но если даже опасения наши напрасны, то разве сами они — не зло, попусту терзающее наши сердца? Выходит, или зло — реально, или оно — наш страх. Но чем бы оно ни было, оно все-таки было, и я спрашивал себя, откуда оно, коль скоро Сотворивший все — благ, а потому и все сотворенное — благо? Понятно, что всякое произведение ниже художника, но это не мешает и ему быть прекрасным; просто художник еще прекраснее. Творец — высочайшее Благо, и творение его — тоже благо,

хотя и меньшее, ведь не зря же сказано, что все сотворенное «хорошо весьма» (Быт. 1. 31). Где же природа, где источник зла? Не была ли злой та материя, из которой Он творил? Он оформил ее и упорядочил, но все же осталась в ней закваска зла, не превращенная в добро? Но неужели же у всемогущего Творца не хватило сил на то, чтобы преобразовать эту материю всецело, чтобы в ней не осталось уже ничего злого? Или почему Он попросту не уничтожил остаточное зло? Неужто эта материя могла существовать против Его воли? Кроме того, если материя вечна, то почему Он приступил к оформлению ее не сразу, а только по истечении столь долгого времени? А если такова была Его воля, то почему Он не начал с разрушения этого зла, чтобы пребыть одному — истинному, высочайшему и бесконечному Благу? Если же Он посчитал необходимым использовать материю при творении, то почему не уничтожил злую и не сотворил добрую? Если же Он не мог обойтись без той, вечной и не являющейся Его творением, то в чем тогда заключается Его всемогущество?

Такие мысли тревожили бедную душу мою, которая изнемогала от мучительной тоски, наводимой страхом смерти без познания истины. Я все еще продолжал искать, откуда зло, и не находил выхода из этого лабиринта. Но Ты не допускал, чтобы волнения мыслей моих колебали основания веры в Твое бытие, в неизменяемость сущности Твоей, в Твой промысел о мире и суд над ним и, наконец, в то, что (покоится) во Христе Иисусе, Сыне Твоем и Господе нашем, и в ведущем к Нему святом Писании, за истинность которого ручается нам авторитет Твоей католической Церкви.

Утвердившись в этих спасительных истинах, я с еще большим усердием принялся размышлять о природе зла. Какие мучения терзали душу мою, сколь часто вздыхал я, Боже! И всему этому внимало ухо Твое, но я об этом не знал. Наконец, когда я в глубочайшем уединении настолько сосредоточился на этом вопросе, что громкие рыдания исторглись из души моей, они, как я понял, вознеслись прямо к престолу милосердия Твоего. Мне вдруг стало ясно: Тебе ведомы муки мои, которые оставались скрытыми даже от ближайших друзей. Я уже был выше дольного, но еще ниже горнего, ниже Тебя, Господи, истинная радость моя; посередине пролегал путь к спасению: сохранить в себе образ Твой и служить Тебе, господствуя над телом. Ты же, Господи, пребывая вовек, не вовек негодуешь; Ты сжалился над прахом и пеплом, преобразил безобразие мое. Ты уязвлял сердце мое, чтобы не было мне покоя, пока не удостоверюсь в Тебе внутренним взором моим.

Я рассмотрел творения Твои, и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они есть, ни того, что их нет. Они есть, ибо — от Тебя, и их нет, ибо они — не Ты. Истинное же бытие — неизменно и вечно. «А мне благо приближаться к Богу» (Пс. 72.28), так как если не пребуду в Нем, не пребуду и в себе. Он же всегда пребывает в Себе; воистину, «Ты Господь мой; блага мои Тебе не нужны».

И тут я понял, что только доброе может становиться хуже. Действительно, абсолютное добро не может претерпевать изменений, вообще же не добро-

му некуда ухудшаться. Ухудшение наносит вред, ибо умаляет доброе в добром; если бы оно не умаляло доброго, то не было и вреда. Итак, или оно не наносит вреда, но оно его наносит, или же то, что ухудшается, умаляется в добре. Если доброе совсем лишится добра, оно исчезнет; если же далее ухудшаться не сможет, то или начнет улучшаться, или пребудет не ухудшающимся. Но нельзя же сказать, что при полной лишенности добра оно начнет улучшаться. Значит, совсем лишившись добра, оно исчезнет и его не станет. Но пока оно есть, оно есть как доброе, и поэтому все, что есть — благо. Выходит, то зло, которое я искал, не есть субстанция, ибо всякая субстанция — добро. Если бы оно было субстанцией, то эта субстанция или не могла бы ухудшаться, но это значит, что она была бы субстанцией абсолютного добра, или могла бы, но тогда в ней должно было быть добро, ибо только оно может ухудшаться.

Итак, я понял, что Ты сотворил все добрым и нет ни одной субстанции, которая была бы не сотворенной Тобой. Но так как все сотворенное не одинаково, то каждое порознь — хорошо, а все вместе — очень хорошо, ибо Ты сотворил все «хорошо весьма».

И нет зла не только для Тебя, но и для всего, сотворенного Тобою, ибо нет ничего, что пришло бы извне и нарушило установленный Тобою порядок. Злом полагается то, что, взятое само по себе, не согласуется с чем-то другим; но если оно же согласуется с чем-то третьим, то здесь оно хорошо, как хорошо оно и само по себе. Поняв все это, я уже не желал лучшего; и хотя высшее, безусловно, лучше низшего, но если бы существовало только одно высшее, то оно было бы все же хуже целого.

Из наблюдений я понял, что хлеб, вкусный здоровому, может отторгаться больным, что гноящимся глазам бывает несносен свет, столь милый глазам чистым. По той же причине не нравится грешникам и справедливость Твоя; но если уподобить их змеям или червям, то неужто же змеи и черви — плохи? Нет, ибо они созданы Тобою для низших ступеней мира и там хороши. Дурно же поступают грешники, которые, утрачивая подобие Твое, нисходят в неподобающие им области бытия; восстановив же подобие, они вновь могут приблизиться к высшему. Но сама эта греховность, неужто она — субстанция? Нет, это просто извращенность воли, отвернувшейся от высшей субстанции, от Тебя, Господи, и обратившейся к низшему, дабы утвердиться во внешнем.

* * *

Я дивился тому, что уже люблю Тебя, а не Твой призрак, но не мог еще утвердиться в Боге моем, ибо привычки плоти тяжким грузом давили меня, увлекая вниз. Я уже твердо помнил и знал, что Ты есть Тот, к Кому надлежало прилепиться всею душою моею, но что этому противилось брренное тело мое, отягчавшее душу и подавлявшее многозаботливый ум.

Я искал путь обретения силы, и не находил его, пока не ухватился за «посредника между Богом и человеками, человека Христа Иисуса», Который

есть «сущий над всем Бог, благословенный во веки». Пока надмевала меня гордыня, я не мог принять смиренного Иисуса, Господа моего, не понимал, чему учит нас уничиженность Его. Пусть же смиряются гордые, видя у ног своих Божество, немощное от принятия призрака раба; пусть падут они ниц пред Ним, и Он, восстав, поднимет и их.

Я же думал иначе, видя в Христе, Господе и Боге моем, только мудрого мужа, с которым никто не мог сравниться, тем более, что Он дивным образом родился от Девы, явив пример презрения к преходящим благам ради достижения вечности. Мне представлялось, что учение Его столь было значимо лишь по Божественному о нас попечению.

Я уже твердо знал, что Ты — неизменяемая сущность, и что все сущности — от Тебя, но не знать, а жить в Тебе — вот чего хотела душа моя. Преходящая жизнь моя была зыбкой, сердце мое жаждало очищения. Я искал пути, коим был наш Спаситель, но узость пути пугала меня.

На собственном опыте я познавал, что «плоть желает противного духу, а дух — противного плоти». Я не мог сказать, что потому доселе не отрешился от мирского и не последовал за Тобою, что не знал истины; нет, истину я познал, но привязанный к земному, отказывался от борьбы для Тебя, и так же боялся освободиться от всех препятствий к этому, как надлежало бояться самих этих препятствий. Я не переставал предаваться губительным занятиям, иссушавшим душу мою, и каждый день обращался к Тебе и воздыхал, посещая церковь Твою, насколько позволяли мне это обременявшие мирские дела мои.

* * *

Однажды к нам заглянул наш африканский земляк Понтициан, занимавший видное место при дворе. Зачем он заходил — мы так и не узнали. Он упомянул об Антонии, египетском отшельнике, чье имя гремело по всему христианскому миру, а мы ничего о нем не слыхали. Узнав о нашем невежестве, Понтициан повел обстоятельный рассказ, стараясь поближе познакомиться нас с этим великим человеком и внушить к нему глубочайшее почтение, удивляясь тому, что нам до сих пор о нем ничего не было известно...

Таков был рассказ Понтициана. Ты же, Господи, сделал так, что слушая его я как бы взглянул в лицо самому себе, выйдя из-за собственной спины, где прятался до сих пор. И вот увидел я свой позор и убожество, свои язвы и струпья. Я увидел и ужаснулся, и некуда мне было бежать. Я хотел отвернуться, но рассказ продолжался, и Ты как бы говорил мне: «Гляди, зри всю неправду свою и ненависть ее». А я ведь и раньше знал ее, и только притворялся, что не знаю, закрывал глаза и прятался, пытаюсь забыть.

Я бросился в садик, расположенный при нашем доме, где в полном одиночестве сошелся в яростной битве с самим собой. Я желал драться до конца, до какого — я не знал, но Ты знал. Желая обрести разум, я сходил с ума, я умирал, чтобы ожить; я видел зло вокруг себя, но еще не видел блага у своего порога.

Итак, я выбежал в сад, вслед за мной, боясь оставить меня одного в таком состоянии, вышел и (мой друг) Алипий, но я уже не замечал его. Душа моя глухо стонала, все кости мои кричали, чтобы я шел к Тебе, вознося хвалы. Да и что тут было идти? Не было ведь нужды ни в кораблях, ни в колесницах, ни даже в ходьбе. Стоило лишь захотеть — и ты уже у цели, но нужна была здоровая воля, чтобы хотеть, а моя была наполовину парализована, и одна часть тщетно пыталась сдвинуть с места другую. Страдая от нерешительности, я отчаянно жестикулировал, как это часто бывает с людьми, желающими что-то сделать, но надлежащие члены которых или отсутствуют, или скованы, или изнемогли от усталости. Я делал не то, что хотел, а то, что мог: рвал волосы, хлопал себя по лбу, сцеплял и распледал пальцы, но разве это мне было нужно? Мне нужно было совсем другое, и не столь уж трудное — достаточно было просто захотеть (и решиться). Но я пока научился лишь хотеть. Дальше, похоже, дело не шло: тело охотно повиновалось всем ничтожным желаниям души, душа же все не решалась на главное — то, исполнение чего зависело только от ее доброй воли.

Откуда это в нас и почему? Господи, просвети меня милосердием Твоим, позволь узнать, уж не за грех ли Адамов сынам его назначено так, что душа приказывает телу — и оно повинует, приказывает себе — и встречает отпор. Стоит душе пожелать — и рука движется, и не заметить промежутка времени между приказом и его исполнением. Душа же говорит себе самой: делай, и — ничего. А ведь душа едина, и если она приказывает себе пожелать, то, значит, она хочет пожелать. Но она не вкладывает себя целиком в это желание, и приказ ее — половинчат. Действенность приказа соразмерна силе желания, и если желание слабо, то и приказ не исполняется. Будь воля целостной, то не нужен был бы и приказ: стоило бы только пожелать. Следовательно, одновременность желания и нежелания — это болезнь души: ее поднимает истина, ее пригибает долу привычка. Душе недостает целостности, одни ее желания борются с другими, и то, что есть в одних, того нет в других.

Так я колебался, служить мне или не служить Господу Богу моему, желая этого и не желая, и оставаясь при этом самим же собой. Я разделился в самом себе и боролся с самим собой, и это разделение, эта борьба свидетельствовали не о двух душах, а об одной, но только больной и терпящей наказание. И наказание это было не от меня, «но от живущего во мне греха», ведущего свое начало от греха Адама, совершенного по свободному выбору.

Так мучился и я, и стонал, и упрекал себя, запутавшись в своих же тенетах, которые хотя и ослабли, но все еще цепко держали меня. И Ты, Господи, не давал мне передышки, в суровом милосердии Своем бичуя стыдом и страхом, дабы я не отступил и оборвал удерживающую меня пуповину. Я говорил себе: «Вот сейчас, сейчас», и уже принимал было решение, и тут же вновь слабел, скатываясь в прежнюю яму; там, переведя дыхание, я вновь начинал подъем, тянулся, и вот, казалось, уже достигал самого края, еще чуть-чуть — и снова вниз. Я без конца колебался, жить ли жизнью, или же

умереть смертью. И чем ближе я подбирался к цели, тем больший ужас охватывал меня; я уже не мог отступить, но и лишился сил продвигаться вперед: я замер на месте.

Что удерживало меня? Сущий вздор и суета сует. Они тихонько дергали меня за одежды, шепча: «Ты покидаешь нас? Что ж, мы уйдем, но знай: теперь тебе нельзя уже и то, и это». То и это! Господи, что это были за «то» и «это»! Отврати, Боже, в милосердии Своем душу раба Твоего от «того» и «этого». Что за мерзости предлагали они мне, но я уже и не очень-то их слушал, и голоса их звучали во мне все слабее. Но все же они задерживали меня, мешали вырваться и устремиться к Тебе. Привычка говорила мне: «Ну как же тебе без них!» Но и ее прежде властный голос дрожал, ибо там, куда я обратил уже взор свой, виделась мне истинная чистота, целомудренная и блаженная. Честен и радостен был ее лик, ласков голос, нежны протянутые мне руки, многочисленны добрые примеры. Мне виделось там множество прекраснейших отроков и отроковиц, дивных мужей и жен, чистых вдов и девственных стариц. И чистота их не была бесплодной: от Тебя, Господи, супруга своего, породила она столько радостей! Я будто бы слышал слова: «Что же ты боишься? Неужто ты не сможешь того же, что смогли все они? Ведь не своею же силой они здесь, но Божией благодатью. Не ищи опоры в себе, ее там нет: возложи все упования свои на Господа и не бойся. Он подхватит тебя и исцелит твои раны». Я сгорал от стыда, ибо звучали еще во мне и прежние голоса, медлил и не решался. И опять зазвучали дивные слова: «Не слушай голоса нечистой плоти твоей, и она умолкнет. Она шептывает тебе о телесных наслаждениях, но они вопреки закону Господа твоего». Так спорил я сам с собой в сердце своем. Алипий же, боясь отойти от меня, молчаливо ожидал, чем кончится дело.

Глубокое размышление обнажило пред взором моим всю нищету мою. Буря, бушевавшая во мне, разрешилась ливнем слез. Такой плач требовал полного одиночества: я встал и отошел от Алипия — даже его присутствие стало мне в тягость. Алипий понял меня и остался на месте; кажется, я что-то ему сказал, но голос душили слезы. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и разрыдался. Я как бы вопрошал Тебя: «Доколе, Господи, гнев Твой? Прости мне все прегрешения, избавь от этих «завтра» и «потом». Почему не сейчас? Почему в сей же миг не покончить со всею мерзостью моею?»

Так причитал я и плакал, так сокрушался в сердце своем. И вдруг я услышал детский голос, раздавшийся из соседнего дома и напевавший: «Возьми и читай». Я удивился, ибо никогда не слышал такого напева ни в одной детской игре. Я встал, поняв эти слова как божественное повеление: открыть первую же книгу, которая мне попадется, и прочесть ту главу, на которой ее раскрою. Я слышал об Антонии, что его вразумили евангельские стихи, на которые он случайно наткнулся: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною»; эти слова сразу же обратили его к Тебе. Взволнованный, я поспешил на то место, где мы сидели с Алипием. Там я нашел апостольс-

кие послания, открыл их и прочел первую попавшуюся главу: «Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа (нашего) Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти». Читать далее уже не было нужды: сердце мое озарил спокойный свет и мрак моих сомнений истаял.

* * *

«О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей; Кто я и что? Чем не погрешил я в помыслах и делах своих, а если не в них, то в своей воле? Ты же, Господи, благостный и милосердный, призрел на меня в бездне смерти моей, очистил сердце мое от мерзости и нечистот; теперь всеми силами своими не желал я того, чего я желал, но желал того, чего желал Ты. Откуда, из каких глубин вызволил Ты во мгновение ока свободную волю мою, дабы подставил я плечи под легкое бремя Твое, Господи Иисусе, «Твердыня моя и Избавитель мой»? Как сладко стало мне вдруг лишиться сладких дурманов; радостно было мне прежде держать их при себе, теперь же стало радостно их оставить. Ты избавил меня от них и Сам, высшее Наслаждение, занял их место. Ты — Сладость сладости, Свет светов, Тайна тайн для всех, кто не ищет этого в самом себе. Душа моя стяхнула груз всех забот и печалей: уже не нужно было просить и кланяться, гоняться за деньгами, валяться в грязи, чесать свою похоть. Я по младенчески блаженно лепетал пред Тобою, Свет мой, Сокровище мое и спасение, Господь мой и Бог мой.

* * *

Тебя призываю, Боже мой, милосердствующий о мне, к Тебе обращаюсь и взываю; к Тебе, Который сотворил меня и Чья любовь не забыла меня, тогда как я забыл Тебя, Творца моего. Вот я есть по благодати Твоей, существовавшей прежде меня и прежде того, из чего Ты создал меня. Ты не нуждался во мне: что я могу? Служба моя не избавит Тебя от усталости, ибо Ты никогда не устаешь, славословие мое не увеличит могущества, ибо что есть хвалы мои для чести Твоей? Я должен служить Тебе и славить Тебя ради себя, чтобы мне хорошо было с Тобой, от Которого и жизнь моя, и возможность чувствовать, что мне хорошо.

Какой человек способен раскрыть людям неизъяснимую тайну Твою? Какой ангел раскроет ее пред ангелами или пред людьми? Тебя должны мы просить, в Тебе надлежит нам искать, к Тебе стучаться, Господи. Так, только так будет нам дано, только так — найдено, только так откроется.

АМИНЬ, АМИНЬ, АМИНЬ.*

* Цитируется по изданию: «Блаженный Августин. Творения». – Т.1. Об истинной религии. – СПб: Издательство «Алетейя» и К.: УЦИММ-Пресс. 1998. – С. 469-741. Подбор текста и композиция С. В. Санникова.